



современная

зарубежная

повесть

Тибор Дери МИЛЫЙ БО-ПЭР!...



65 коп.



В СЕРИИ «СОВРЕМЕННАЯ
ЗАРУБЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»

Вышли в свет:

Енё Й. Тершан-
ский. Приключения ка-
рандаша. Приключения
тележки (Венгрия)
А. Бундестам. Про-
пасть (Финляндия)
У. Бехер. В начале пя-
того (ФРГ)
Р. Прайс. Долгая
и счастливая жизнь
(США)
Д. Брунамонти.
Небо над трибунами
(Италия)
В. Кубацкий. Груст-
ная Венеция (Польша)
Ж. К. Пирес. Гость
Иова (Португалия)
П. Себерг. Пастыри
(Дания)
Г. Маркес. Полковни-
ку никто не пишет. Пала-
листа (Колумбия)
Э. Галгоци. На пол-
пути (Венгрия)
Т. Стиген. На пути
к границе (Норвегия)
Ф. Бебей. Сын Агаты
Модио (Камерун)
М. Коссио Вуд-
ворд. Земля Сахария
(Куба)

Р. Клысь. Какаду
(Польша)
А. Ла Гума. В конце
сезона туманов (ЮАР)
Я. Сигурдартот-
тир. Песнь одного дня
(Исландия)
Г. Сэди. Страх
(Иран)
Т. Недреос. В сле-
дующее новолуние (Нор-
вегия)
Д. Болдуин. Если
Бийл-стрит могла бы за-
говорить (США)
Ф. Сэборг. Сво-
бодный торговец (Дания)
К. Схуман. В родную
страну (ЮАР)
М. Сюзини. Такой
была наша любовь
(Франция)
П. Вежинов. Барьер
(Болгария)
Мо Мо Инья. Кто мне
поможет? (Бирма)
Э. Базен. ...И огонь
пожирал огонь (Фран-
ция)
К. Нёстлингер. Иль-
за Янда, лет-четыренад-
цать (Австрия)

Dery Tibor

KEDVES BÓPEER !.

**Budapest,
1976**



Тибор Дери

МИЛЫЙ БО-ПЭР!

Повесть

Перевод с венгерского



Москва
„Прогресс“
1980

Перевод с венгерского Е. МАЛЫХИНОЙ
Предисловие ИМРЕ ДОБОЗИ
Редактор Е. ОРЛОВА

Дери Т. Милый бо-пэр!.. Повесть. Пер. с венг. — М.: Прогресс, 1981. — 136 с. (Современная зарубежная повесть)

Тибор Дери (1894—1977) — прозаик, видный представитель венгерской социалистической литературы, широко известный у себя на родине и за ее пределами. На русском языке публиковались его роман «Ответ», рассказы, эссе.

Повесть «Милый бо-пэр!..» создавалась писателем в канун своего 80-летия. Серьезные раздумья о жизни и смерти, глубокая искренность и прямота перед лицом своего «я», мужество и проникновенный, прикрытый тонкой самоиронией лиризм — характерные черты этого талантливого произведения.

Художник *Ф. Л. Рабичев*. Художественный редактор *А. П. Купцов*. Технический редактор *И. К. Дергунова*.
Корректор *Г. А. Клочкова*

ИБ № 9491

Сдано в набор 01.08.80. Подписано в печать 09.10.80. Формат 70 × 90^{1/32}. Бумага офсетная. Условн. печ. л. 4,97. Уч.-изд. л. 5,95. Тираж 50000 экз. Заказ № 652. Цена 65 к. Изд. № 29982.

Можайский полиграфкомбинат «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, г. Можайск, ул. Мира, 93.

© Déry Tibor, 1976

© «Иностранная литература», 1979

Д 70304-079 — 93-81
006(01)-81

4703000000

ПРЕДИСЛОВИЕ

Тибор Дери – выдающийся представитель венгерской социалистической литературы, признанный и за пределами Венгрии.

Первые произведения молодого Дери опубликованы были в журнале «Нюгат» («Запад») в 1917 году, и его сразу заметили – тогда еще, правда, не литературная критика, но прокуратура. За рассказ «Лия» он был привлечен к суду.

Под влиянием крупных социальных потрясений, значительных исторических событий и собственного жизненного опыта Тибор Дери в конце 1918 года вступил в только что организованную венгерскую партию коммунистов и во время Венгерской советской республики был членом Директории писателей. Когда начался контрреволюционный террор, он эмигрировал и лишь в 1926 году вернулся на родину.

Для его литературной деятельности этого периода характерны стихотворения, написанные под знаком различных мудреных «измов», и влекущаяся к фантастическому, склоняющаяся к сюрреализму проза. В начале 30-х годов, как отклик на усиление фашизма, он создает повесть-трилогию «Лицом к лицу»; этот его памятный труд рассказывал о борьбе немецких коммунистов. Затем, в 1933 году, в Вене Дери приступил к роману «Неоконченная фраза». Яркое, широкоформатное по социальному охвату изображение рабочего класса Венгрии не могло появиться в Венгрии хортистской. Лишь несколько отрывков из романа увидели свет в «Нюгате», и еще вышла статья Дюлы Ийеша, чуткого и смелого друга, готового бесстрашно принять удар на себя: Ийеш с достаточной ясностью рассказал читателям о большом произведении, вынужденно остающемся у писателя в столе. На долю Тибора Дери выпала тогда трудная бесприютная жизнь: его самые значительные произведения были как бы изгнаны из литературы, это заставило писателя, в сущности, уйти во внутреннюю эмиграцию, принудило ради куска хлеба тратить силы на перевод литературно больших бестселлеров.

Освобождение страны в 1945 году принесло ему не

только гражданскую свободу, но означало также свободу писать, работать, печататься. Как выдающийся писатель левого направления, он принял участие в нашей заново организующейся духовной жизни в рядах Венгерской коммунистической партии, и в становлении этой жизни безусловно сыграло свою роль первое издание «Неоконченной фразы». Дери писал драмы, новеллы, вышли из печати первый и второй тома романа «Ответ», этого значительного произведения о рабочем, рисующего в широком социальном русле путь рабочего, становящегося сознательным. За роман «Ответ» он подвергся суровой, во многом несправедливой критике; столь же необоснованная полемическая буря разразилась вокруг рассказа «Белая бабочка». Таким образом, к середине 50-х годов Дери оказался не только объектом признания за деятельность его и за талант, но также объектом неумеренной критики и безосновательных нападок. Разумеется, даже все это вместе взятое не может оправдать некоторых его выступлений, которые в конечном счете были на руку контрреволюционным силам. После жестокого нравственного, политического поражения, после понесенного наказания у писателя достало сил вернуться к общественно полезной деятельности.

И вот в 1974 году, в день его восьмидесятилетия, государство удостоивает писателя высокой награды — премии Лайоша Кошута. О том, что происходило за эти семнадцать-восемнадцать лет, будет еще написано много исследований и книг, разбирающих сущность взаимоотношений культурной политики коммунистов и социалистической по направлению своему духовной жизни страны. Буржуазный Запад поднял вокруг Дери большую шумиху, и, когда писатель в 1963 году отправился в свое первое заграничное лекционное турне, его, «мученика», поджидала в Вене целая армия пропагандистов, жаждущих скандала, сенсаций. Однако Дери, не делая при этом никаких показных самокритических жестов, заявил недвусмысленно: «В нынешней Венгрии я могу писать совершенно свободно, и эту свободу творчества ограничивает лишь одно условие — творчество не должно быть направлено против социализма. Я же и ныне, равно как и в прошлом, являюсь социалистом, так что это ограничение принимаю добровольно». Та же позиция нашла свое выражение и в выступлениях Тибора Дери во время поездки в Со-

ветский Союз, она же сконцентрирована в его последующих произведениях, и можно смело сказать: начиная с шестидесятых годов мы наблюдали поистине ренессанс в творчестве Дери. «Господин А. Г. в городе Н.», «Отлучающий», «Милый бо-пэр!..», мемуары «Приговора нет», стяжавшие признание, но и оговорки; волнующие душу зарисовки «Приношения дня», рассказ «Любовь» и кинофильм по нему — все это было духовным самовыражением писателя, проникательно наблюдающего мир и себя в нем, писателя, неизменно готового и способного к художественному обновлению.

В этой способности Тибора Дери к обновлению восторжествовала не просто воля к жизни, но воля к творческой, к разумной жизни, а также нравственная победа участника общих усилий по созданию новой Венгрии. Эту человеческую, писательскую победу он мог одержать лишь благодаря тому, что, следуя логике своего собственного жизненного пути, поборов внутренние и внешние трудности, сознательно встал на путь солидарности, союза, принципиального единства с историческими, основополагающими принципами нашего народного государственного строя.

Тибор Дери — писатель глубоко современный, один из самых известных и читаемых в мире наших прозаиков. Секрет современности и широкого успеха Дери не в том, что он разрыхлил традиционную структуру романа, рядом с полномерно обрисованными характерами набросал небрежные эскизы образов, в то убыстряющееся, то совсем затухающее сюжетное движение вмешал пространные размышления философского и социального характера, свою тягу к «чужакам» и чудачествам сопряг с объективной достоверностью, взволнованное восхищение — с иронией. Все это он создал, если угодно, приладил к главному, все решавшему шагу, когда он вырвался из пресловутой венгерской резервации, угадав, увидев за противоречием «господин — слуга» иное, исторически неизбежное и непримиримое противоречие «буржуа — пролетарий». Именно благодаря этому Дери и подключился к общим проблемам мировой современности — это было действительно современное решение: показать все устарелое через внешние и внутренние битвы нарождающегося рабочего движения; понять их, поставить себя на службу им, выразить их с наибольшей силой.

Думаю, в этом – или в чем-то подобном – и заключается разгадка значения одного из самых выдающихся его эпических полотен – романа «Неоконченная фраза».

На протяжении минувших десятилетий нас связывали с Дери то суровые и тяжкие споры, то дружеские, товарищеские рабочие контакты. Беседовать Дери любил. Когда соберутся двое-трое, ну пятеро-шестеро у него дома, в Фюреде. Свою «литературную жизнь», которую кое-кто представляет себе в виде некоей агоры, набитой шумной толпой, он вел в узком – часто меняющемся по составу – кругу, то есть в обстановке, когда еще возможен углубленный обмен мыслями, когда у собеседников и в самом деле имеется интерес и терпение выслушивать более или менее сложные умозаключения друг друга. Если случалось иногда, что я приглашал его на несколько более многочисленных собраний, он недовольно ворчал: «Сорок тысяч писателей на Ракошском поле!»¹ Но, бывало, в кои-то веки все-таки приходил. Однако мне никогда не удавалось подвигнуть его на разговор о том, как бы расположил он по значимости свои произведения или хотя бы детальнее рассказал о них. Возможно, я не умел найти нужный подход к нему.

Теперь уже вместо диалога возможен лишь монолог. Эскиз собственных моих раздумий.

Сколько бы я ни встречался с ним, всякий раз при виде его хрупкой фигуры, мягкого лица, задумчивых глаз я задавался вопросом: где и почему пребывает в этом слабом, хилом теле его пресловутое – иной раз просто заклятое какое-то – упорство? Ибо он был упорен. И более всего, пожалуй, тогда, когда писал – безо всякой надежды напечатать, выпустить в свет, услышать отклик, но в сознании своей правды и своего таланта, – писал долгих четыре года, влача самое жалкое существование, свою «Неоконченную фразу». А ведь мог бы как-то и приблизиться к хортистскому курсу (были такие). Мог бы сделать для этого хоть какой-нибудь жест.

¹ Шутливый намек на историческое собрание – своего рода вече – представителей венгерских сословий на Ракошском поле (теперь – район Будапешта) в бурные дни революции 1848 года. – *Здесь и далее примечания переводчика.*

Он был упорен и в том, что никогда не довольствовался однажды сделанным. Он был новатором, постоянно и со страстью, неустанно меняя традиционный облик венгерской прозы. Он был мастером сюжетного повествования, но строил сюжеты всякий раз по-иному, и повествования его все чаще обрывались, прерывались трагической или, напротив, иронической гимнастикой ума, выливавшейся то в фантастические, гротескные картины, то в глубокие рассуждения. Благодаря этой своей склонности к новаторству он постоянно как бы омолаживался, даже в преклонные годы, а омоложение в свою очередь лишь подстегивало его новаторские склонности.

Если мы не были слишком богаты писателями-насмешниками, то и бедны ими не были тоже. Однако Дери более всего высмеивал самого себя, собственную бренность, свои сомнительные предубеждения, запоздалые сетования свои, им самим себе назначавшиеся роли. Ведь он написал не только «Приговора нет», но и «Милый бо-пэр!..», с той иронической и мудрой отрешенностью, какая и положена всему тому, что страстно желанно и — невозвратно. Он мог себе это позволить. С той высоты, на которую он поднялся, он мог уже с усмешкой взирать на собственные человеческие габариты.

*Имре Добози,
Председатель Союза писателей ВНР*

Я родился в Будапеште в конце девяностых годов, значит, если не ошибаюсь в счете, мне сейчас ближе к семидесяти, нежели к восьмидесяти. Все семейные документы, в том числе моя метрика и свидетельство о крещении, сгинули во время осады под обломками нашего разрушенного бомбой дома, а раздобыть копии за три минувших с той поры десятилетия мне было, видимо, недосуг. Я еще в состоянии припомнить, когда требуется, девичью фамилию матери, равно как и жены; забыть собственное прозвание не удалось бы, даже если бы захотел,—давать автографы и сейчас еще приходится часто. Среди прочих хранимых памятью сведений, имеющих отношение к книге записей гражданского состояния, следует упомянуть о моем перворожденном сыне, представившемся во младенческом возрасте неисповедимую милостию господней в середине сороковых годов; супруга моя отмучилась много позднее, лет через десять после него, разрешившись от бремени вторым моим сыном, Тамашем, и, таким образом, вот уже шестнадцать лет мы живем с сыном вдвоем. Или семнадцать лет—возможно, впрочем, восемнадцать или девятнадцать, не все ли равно.

Коль скоро природа одарила меня столь выдающейся памятью, надлежит ею воспользоваться. Отсюда эти записки. Разумеется, они пишутся исключительно для себя—ведь и курица для себя несет яйца; иными словами, перед смертью я намереваюсь уничтожить их собственноручно. Осуществить свой замысел у меня, естественно, неостанет душевных сил, а потому прошу первого, кто записки сии обнаружит, оказать мне великую милость и сжечь их. Увы, увы, это пожелание также не будет выполнено: кто, в самом деле, решится уничтожить

хотя бы одну-единственную строку известного всей стране писателя? Мой сын Тамаш? Для которого каждый мой чих — святая заповедь? Который не способен усмехнуться надо мною даже во сне?! Да и вообще — где он будет в тот час, когда я умру? В тот безотрадный рассветный час — ибо случится это на рассвете, — когда я с последней гримасою скажу однажды миру «прощай»?

Где ж ему и быть? В постели Кати, черт его подери! У моей же постели будет коротать ночь какой-нибудь верный филолог, а то и двое-трое сразу, один вернее другого, не говоря уж о непременном репортере, который, бредя домой из «Фесека»¹, завернет ко мне, чтобы, наострив шариковую ручку, перехватить мои последние хрипы и подбросить их выпускающему перед самой сдачей номера в набор. А кстати, каким будет мое последнее слово? Положиться ли на вдохновение или отработать его заранее? Разумеется, память у меня еще превосходна, но как бы второпях, в последнюю минуту, все же не позабыть подготовленный текст... Разве что набросать на бумажке и сунуть под подушку? В частной моей жизни я не чураюсь странностей, это верно, однако, представая перед публикой, следует блюсти приличия, а посему последнее слово есть не только право человека, но и его долг.

Впрочем, находясь в полном и совершенном здравии, я могу, по-видимому, еще лет десять спокойно предаваться размышлениям на эту тему.

Высоко над ореховыми деревьями моего сада пролетает балканская горлица, за ней другая, и обе, медленно взмахивая крыльями — которые, должно быть, подобно следам ног на траве, приминают в прогретом солнцем воздухе тро-

¹ Популярный в Будапеште клуб артистической и художественной интеллигенции.

пу,—исчезают над крышею соседней виллы. Если б и я мог так же неслышно исчезнуть в предназначенных мне кругах неба или ада!

Итак, мы живем с сыном одиноко вот уж семнадцать-восемнадцать лет—впрочем, может статься, и все девятнадцать. Память на числа у меня неважная, еще и по этой причине я не знаю, сколько мне лет, да и какое это имеет значение! Годы свои я считаю по числу зубов: резцы и клыки у меня—за исключением одного, нижнего,—все на месте, правда, четыре-пять кариозных коренных пришлось удалить, но их отсутствие заметно, только когда я расхожусь. Смеюсь же я редко, и не иначе как над чужою бедой; а поскольку человек я, в сущности, доброжелательный, то причиной для веселья служит мне чаще всего вид старика в холодный зимний день с каплей под носом. Приметив собирающуюся в его ноздрах влагу, я неотступно слежу, как она сгущается затем в каплю, выкатывается из ноздри и какое-то время остается висеть на кончике носа. Весь вопрос в том, сколько она провисит. И когда наконец, в миг полного созревания вытянувшись грушей и поблескивая, она падает вдруг на отворот пальто или на жилет злополучного старца, мною овладевает приступ неудержимого смеха. А старик вперяет в меня долгий тусклый и тупой взгляд, не понимая, с чего я развеселился. И если тем временем следующая капля...

А из всего этого явственно следует, что, хотя мой собственный нос пока остается сух, меня одолевает страх, как бы рано или поздно, лет, скажем, через десять, и ему не впасть в тот же самый грех.

Вот, например, мой коллега, Ференц Галгомачаи, именитый поэт. Он много моложе меня—да хранит его господь еще минус сто двадцать лет,—однако нос у него течет зимой даже в натопленной комнате.

Недавно я повстречался с ним в морозный день на площади Свободы. Элегантный короткий тулупчик, узкие замшевые штаны, широкий голубой шарф вокруг шеи, меховая шапка набекрень. Он всегда облекает свое дряхлое тело в наимоднейшие тряпки, только бы не отстать от лихой молодежи.

Бросаю взгляд на его длинный нос. И тотчас обращаю глаза к небу. Откинув назад голову, он вслед за мной всматривается ввысь. Снизу мне хорошо видны его ноздри, правая уже становится влажной.

— Что ты там видишь? — спрашивает он.

— Горлинку, — говорю отрешенно. — Очень люблю горлинок. Кстати, читал ты Кароя?

— Читал, — отвечает он. — Слабо.

— Н-да, — отзываюсь я.

Капля уже зрел, все мое внимание приковано к ней, я не могу сосредоточиться на слабостях упомянутого романа Кароя. Да и вообще не читал его. Вдруг я с ужасом замечаю, что рука приятеля моего Ференца Галгомачаи тянется к карману — явно за носовым платком. Рука дрожит. Болезнь Паркинсона? Или просто старческий тремор? Но сейчас мне некогда разбираться в этом. Я должен отвлечь его внимание.

— Смотри-ка, вон она! — говорю я, вперив глаза в небо.

— Еще одна горлинка?

— Да уж не сова, — отвечаю. — С совой я встречался в последний раз на страницах романов сестер Бронте.

— А я в Пуркерсдорфе, на колокольне храма святого Иеронима, — сообщает мой коллега, — притом со стареньким, потрепанным экземпляром. Но глаза у нее сверкали, словно карбункулы.

Карбункулы? Смехотворно! Из лексики Йокаи¹!

¹ Йокаи, Мор (1825–1902) — венгерский писатель-романтик.

— Ах, вот именно, словно карбункулы,— повторяет он нараспев, анапестом.— Когда ж это? Тому уж более четверти века, дружище! Точнее, летом сорок седьмого, в августе.

Блится своей памятью, словно карбункулом.

— Не могло быть в августе сорок седьмого,— говорю наугад, чтобы оттянуть время,— в ту пору еще не давали выездных паспортов на Запад.

— Мне дали,— говорит он, укоризненно на меня смотрит, потом опускает голову, его рука снова ощупью пробирается к карману. А я, словно замороженный, не могу оторвать глаз от его носа. К счастью, сила земного притяжения вовремя одерживает победу, грушевидная капля отрывается от ноздри и уже поблескивает на отвороте модного тулупчика. Я усмехаюсь... какое там! Я хохочу.

— Что ты смеешься?

— Просто так.

С каких уж пор я живу с сыном вдвоем! То есть один—с ним, во главе редееющей процессии известкующихся воспоминаний, сопровождаемой довольно шумным аккомпанементом Тамаша. Ну а не будь Тамаша? Лучше ли было бы мне совсем одному, лишь на то уповая, что, когда придет мой черед, чья-нибудь чужая рука милосердно утрет мои сопли-слюни?

Я пока не нуждаюсь в сыновней поддержке и не желаю ее, но сын служит единицей измерения для оценки моего физического и духовного угасания. Если мне все еще вняты его заурядно глупые вопросы и сомнения, значит, я пока что в здравом уме и лишь умеренным темпом—паук по паутине—спускаюсь к вратам моего будущего ада. Вообще же, если я не ошибаюсь, из Тамаша выйдет здоровый, мелочно важничающий, дюжинный человек с дюжинными страстями и соответствующей им ограниченностью—об этом свидетельствуют его любовь к порядку и истине невероятная правдивость. Мало-помалу

оправится он и от впитанного с детства преклонения передо мной, обнаружив со временем, сколько лгал я за свою жизнь, особенно в молодые годы, когда еще была в том необходимость, и станет от этого, несомненно, более здоровой натурой. Я предрекаю ему долгую жизнь, хотя, вероятно, она будет короче моей.

С умилением вспоминаю о том, сколь достойно вел себя по отношению к нему после смерти его матери, как и в младенчестве его, так и много позднее, когда он уже передвигался на собственных ножках. Словно вознамерясь исправить все оплошности моей жизни, иначе говоря, символически — в лице одного человека — воздать за все невзгоды, возможно причиненные мною человечеству, я каждый божий день ровно в семь часов вечера — даже если для этого нужно было покинуть постель любовницы или оторваться от карточного стола — появлялся к вечернему купанию малютки и дожидался, пока его уложат в постель, дабы он унес в свои сопровождаемые желудочными коликами сны облик склоненного над ним отца. Чтобы не скучать, я выпроваживал иногда няньку и купал ребенка сам. Подведя ладонь под его затылок, я осторожно покачивал младенческую головку над водой, глядя с легкой брезгливостью на корчащееся, сучащее ножками, извивающееся розовое тельце, слушая слабые вскрики, напоминавшие звуковой гаммой короткие вскрики его матери, когда она ночами искала радости в моей постели. Воспоминание поначалу развлекало меня, но со временем я как-то отстранился от ванной комнаты и занял свое место отца и главы семьи у колыбели ребенка, а позднее — у его кровати.

Он уже вышел из младенческого возраста, когда я, сидя как-то вечером у его ложа и мысленно рисуя черты матери над спящим детским личиком, заметил вдруг, как легкое летнее покрывало приподымается над его пахом. Признаюсь,

я был потрясен. Потрясен настолько, что лишь несколько минут спустя встал и вышел из детской.

Войдя в смежную комнату, которая была когда-то спальней жены, и остановившись перед большим, до самого пола, зеркалом, я принялся изучать свое отражение. Из соседней комнаты слышалось мирное посапывание ребенка.

Мне конец, повторял я про себя потрясенно. У меня уже есть преемник. Мне конец. До сих пор мир принадлежал мне, и вот — вступает он. Значит, я старюсь. Что будет со мной?

Я попробовал подсчитать, сколько же мне лет. И малодушно оставил это занятие: числа, казалось, подтверждали сделанный мною вывод. Я продолжал разглядывать свое отражение в зеркале. Видимость этому выводу противоречила. Пожалуй, мой биологический возраст был меньше числа лет. Я все еще был выше среднего роста на голову, а то и полторы; живот мой подобран, осанка не хуже, чем в бытность мою гусарским поручиком; в длинных волосах, хоть и стали они совершенно белы, иной раз все еще оставался зуб расчески; щеки гладкие, без морщин, морщины на лбу — свидетельство не возраста, а труда... да и походка — я все присматривался к ней, беспокойно расхаживая взад-вперед по комнате и то и дело возвращаясь к зеркалу, — походка оставалась по-прежнему пружинистой и бесшумной: помню, когда я вот так же, под вечер, входил к жене — тогда она еще была жива, бедняжка, — она всякий раз вздрагивала, так как не слышала за дверью приближения моих шагов. И голос мой оставался юношески резким, будто свист меча, правда, меч-то несколько повыщербился.

Итак, я стоял перед зеркалом. Теперь я уже понимал, что значит выражение: он был убит наповал. Или: получил удар кинжалом в спину. Я весь дрожал, охваченный возмущением и —

признаться? не признаваться? — страхом смерти. В зеркале я видел мои длинные белые волосы — нет, все-таки они не обманывают. Как и гусиные лапки возле глаз, сколь они ни тонки. Первая эрекция сына словно красный флажок, знак запрета, поднятый передо мной: берегись, дальше пропасть! Красный глаз семафора: дальше пути нет! Этот семафор встал передо мной словно крутая гора, словно скала, встал преградою моим пружинистым, бесшумным шагам к будущему, казавшемуся бесконечным. Я впервые ощутил, что умру. До тех пор не верил — видит бог, я не лгу.

Меня только что не трясло. В дальнейшем я по-прежнему владел своим организмом при любых душевных передрягах — он проявлял себя самое большее сердитым вздохом, реже — зубовным скрежетом или коротким ударом кулака по столу. Сейчас у меня дрожали даже ноги. Я подтянул к зеркалу стул, сел. И продолжал рассматривать себя. Но эта маленькая, уже готовая к запуску ракета перевернула все мое нутро. Теперь я знал, я понял: новое поглощает старое. Мне конец. Эта минута меня так всего перевернула, что в тот вечер я даже не вышел из дому — оказаться среди людей было бы просто непереносимо.

Надеюсь, что час моей действительной смерти я встречу с большим самообладанием. Правда, к тому времени я буду много старше.

Удар судьбы лишил меня даже обычного чувства юмора. Я серьезно отнесся к себе, а следовательно, и к окружающему миру. На счастье, вошла моя домоправительница Жофи и спросила, не приготовить ли ужин, коль уж я так засиделся дома.

— Ну как же, — ответил я невразумительно.

— Значит, приготовить?

— Не нужно. Скажите, Жофи, сколько вы на мне зарабатываете? На каждой моей трапезе?

- О чем это вы?
- Ну хоть так, приблизительно... В среднем?
- Не пойму я вас, молодой барин.

Она все еще так меня величала, даром что голова моя давно уж белым-бела.

- Я спрашиваю, сколько вы крадете у меня в среднем на каждой еде? - выговорил я, не запнувшись. - Или вам помесечно сподручнее?

Я без смеха смотрел на хватающий воздух рот и протестующе вскинутые трясущиеся руки Жофи; впрочем, мне вообще было не до смеха, что правда, то правда.

- Сколько денег вы уже припрятали от меня в сберегательной кассе? - спросил я, глядя ей прямо в глаза: наполнятся же они наконец слезами!

Но в тот вечер мне решительно ничего не удавалось. Старуха медленно опустила вскинувшиеся было руки, неожиданно рассмеялась густым, хриплым смехом и всем своим грузным телом двинулась ко мне, шаркая ногами. Обошла меня сзади и вдруг поцеловала в макушку.

- Дурная это шутка, молодой барин, право, - сказала она, - вам уж и не по возрасту. Кабы не знала вас невесть с каких времен... Чем надо мной шутки шутить, лучше бы воспитанием негодника этого занялись...

- Что там опять с ним неладно?

- А... и сказать-то совестно.

- Ну?

- Да кто ж, как не он, юбку нынче задрал девушке той, что ваши рубашки приносила из прачечной? В дом больше не впущу паршивку такую.

- Что ж ее не впускать? - сказал я. - Пускайте, пусть мальчик учится.

- Другому чему пусть учится, негодник.

- Жофи, - сказал я, - вы по вечерам, как уложите мальчика, не замечали, что творится там, под одеялом его?

Жофи молчала.

— Позвольте, молодой барин, я по своим делам пойду,— сказала она немного погодя, покраснев всем своим старым, морщинистым лицом.— Со мной вы уж не безобразничайте!

— Да ведь не я безобразничаю, Жофи,— сказал я,— но что верно, то верно: там, под тем одеялом, готовится великое свинство. Ну есть ли большее свинство, Жофи, чем смерть? Там, под тем одеялом, свистулькою моего сына мне ежевечерне пишут смертный приговор. Эта маленькая свистулька станет для меня трубою последнего суда.

— Вам горячий ужин приготовить, молодой барин?—спросила старая Жофи.— Или довольно будет чаю, масла, баночки сардин, может, еще чего?

— Вы хотите пережить меня, моя старушка?—спросил я.— А ведь там, под одеялом, и по вашу душу свистят. Сколько вы еще собираетесь протянуть с этими негнущимися, опухшими ногами, плохо работающими сердечными клапанами, больной поясницей? Почему, в конце концов, на пенсию не идете?

— Это уж мне верная смерть,—тотчас откликается Жофи.— Так что вы потерпите: еще какое-никакое время пошаркаю тут подле вас.

Зачем человеку нужно усугублять собственные страдания ранами своих ближних? Или, когда худо ему в собственной шкуре, он черпает радость в том, что и другому не лучше? Столь безграничен эгоизм? Нам невыносимо, что сосед наш крепче, здоровее, моложе, о, главное, моложе? Моложе нас, в ком сознание собственного бессилия плодит зависть, как отбросы—червей. Еще несколько считанных лет—и эта символика распада начнет проступать на мне там и сям, и злорадство, сопутствующее зависти, все чаще станет просить себе слова, да я и теперь иной раз содрогаюсь от собственного моего безудержного

смеха при виде старца с каплей под носом. Вот и тогда, помню отлично, я чуть ли не весело смотрел на ожиревшую согбенную спину Жофи, когда она, шаркая ногами, шла из комнаты. Уж ее-то переживу, повторял я про себя. И даже словно бы расчувствовался. Ну и пусть подвывает, — думал я, ибо в тот миг не сомневался в этом, — все равно ведь мне оставит свои денежки, родни-то у нее никакой. Чем больше уворует, тем больше мне достанется!.. Дело в том, что к этому времени я обнаружил, как мне показалось, на богатой цветовой палитре моей натуры некоторые признаки скупости.

Но если все-таки она оставит свои деньги не мне? А, например, сиротскому дому в Кишкунмайше или монашкам ордена святой Мелании в Боготе? Тоже не беда! Почему бы и мне не принять участия в оздоровлении общественной морали, тем более на чужие средства? Какая важность, что я не верю в возможность духовного совершенствования, ежели, пусть не веруя, делаю то же самое, что сделал бы верующий! И это даже нельзя назвать лицемерием, если благородное движение моей души я сопровожу тонкой усмешкой.

Господи боже мой, ведь минуло то время, когда я, как говорится, с радостью положил бы голову под меч во имя моих идеалов. Ну, пусть не с радостью, но положил бы. И не только денег не пожалел бы — в данном случае денег Жофи, — но и все земные блага, буде они у меня имелись, отдал бы не колеблясь на благородные, мною самым тщательно отобранные цели. Не только “vita et sanguis”, но и “avena”¹.

¹ «Жизнь и кровь», «овес» (лат.) — ироническая отсылка к известному девизу феодалов «Жизнь и кровь за сюзерена»: не только «жизнь и кровь», но и «овес», то есть готовность на материальные жертвы.

Во что же превращается человек?! — ошеломленно спрашиваю я себя ныне, на закате долгой жизни.

Как восхитительно беззаботен был я прежде! Как беззаботно обращался с тем, что имел, и еще более — с тем, чего у меня не было. Я ощущал в себе запасы, каких достало бы и на сто жизней, и силами моими и деньгами я делился щедро со всяким встречным и поперечным и собственное будущее мое бездумно закидывал за спину, словно теплый, навечно мне приданный плащ. И вот теперь... теперь я стал скупердям, *horribile dictu*¹, мне даже чужой крови жалко. Не говоря уж о собственном достоянии. Вон ведь что пожалел — те гроши, что прибирает к рукам Жофи, ведя мое хозяйство.

А давно ли это со мной?

Если не ошибаюсь, скупость стала развиваться у меня в то самое время... точнее: я с того времени начал наблюдать за собою и протокольно фиксировать замеченное, когда мужская сила Тамаша восстала против меня. Против меня — верно я выразился?

На другой же день, а может быть, еще день спустя, внешне несколько успокоившись, я пошел к другу моему, доктору Шандору Шандору, чей сын примерно одного возраста с моим. Шандор — человек неумный, но мне он нравится именно своей обыкновенностью. Благодаря коей он даже не чувствовал себя польщенным моим визитом.

— Ну что...

— Ну как...

— Хочу кое о чем спросить тебя, Шандор.

— Изволь, смелее! Попросить жену выйти?

Жена у него молодая, красивая, с жаркими черными миндалевидными глазами над выдающимися по-татарски скулами. С такой тоненькой

¹ Страшно сказать (лат.).

талией, чуть подрагивающими бедрами она не посрамила бы себя и в постелях получше этой. Не знаю, где уж раздобыл ее Шандор.

— Ну что ты, зачем? Я о сыне твоём хотел спросить. Ведь он примерно одних лет с Тамашем.

— В октябре ему исполнилось восемь. А твоему?

— Восемь? Что-то в этом роде.

— Ты не знаешь, сколько лет твоему сыну?

— Я и своих-то лет не знаю.

— Ах, Флориш, Флориш,—проговорила жена Шандора и погрозила пальчиком.—Вы кокетничаете своим возрастом.

— Возможно,—отозвался я коротко: мне испортил настроение этот тривиальный, столь не идущий к ее благородной стати жест, этот грозивший мне указательный палец.—Скажи, Шандор, у твоего сына уже была эрекция?

— Как ты сказал?.. Была ли у него?.. Ну, разумеется, была.

Его жена покраснела. Теперь я простил ей тот дурацкий жест, потому что покраснела она естественно, красиво.

— Ну, и ты?—спросил я Шандора.—Какое это на тебя произвело впечатление?

— Какое? Я порадовался. Здоровенький малец растёт.

Чего же еще и ждать от глупца?

— А тебе не пришло в голову, старый ты осел,—сказал я,—что ты умрешь?

— Эка! Ведь это могло бы прийти мне в голову и тогда, когда он только на свет появился, мне-то было уже за сорок.

— И что импотентом вот-вот станешь, не подумал?

— И про это не думал,—расхохотался Шандор.—Это уж женина забота.

Я встал и откланялся, не дожидаясь, пока юмор разгулявшегося самца, теперь уже неиз-

бежный, окончательно лишит меня вкуса к жизни. Они не слишком удивились внезапному моему уходу, я давно приучил их смотреть на писателей как на безумцев: так для обеих сторон приятнее.

Собственно, в это время, когда я начал за собой наблюдать, то есть приблизительно лет десять тому назад, причин для подобного наблюдения еще и не было. Надо мною шествовала ранняя осень, сентябрьская переходная пора, природой едва обозначаемая: разве что воздух становится чуть прохладнее после августовской жары. Если бы мой маленький сын не выбросил против меня свой бунтарский стяг, я продолжал бы стариться, того не замечая; мне было это тем легче, что и тогда уже мои волосы были белы как снег, да и морщин на лице с тех пор, пожалуй, не прибавилось—может быть, только самую малость,—память же пострадала не более, чем лист абрикосового дерева от легкого дуновения ветерка: я почти одинаково ясно мог воспроизвести, как мне помнится, события, случившиеся десять лет назад или происшедшие вчера. И имена я почти никогда не путал. И еще редко бывало со мною в ту пору, чтобы, сидя в саду, в тени огромного орехового дерева, и наблюдая медленное колыхание выстроившихся вдоль боковой стены дома девяти тополей—это колыхание захватывает стволы целиком, от верхушки до земли, сверху донизу,—да, редко бывало так, чтобы я вдруг непроизвольно вздохнул в такую минуту. Мое тело, мой мозг были еще безупречны или по крайней мере такими казались. С учетом, разумеется, того прискорбного факта, что человеческий организм начинает распадаться с минуты рождения и распадается одновременно с ростом. Но ведь не испытывал же я зависти, услышав за спиной топот бегущего ребенка и тут же увидя, как стремительная фигурка в мгновение ока оставила меня позади,—я

был убежден, что при желании мог бы легко бежать с ним вровень,—просто я *не хотел* бежать. И почему тот факт, что я *не хотел*, считать признаком старости? Что же, если я вижу на Пашарети ищейку-щенка, который носится взад-вперед, хлопая ушами, я тоже должен носиться, тоже хлопать ушами? А если надо мною пролетела ворона, мне что же, лететь за нею? И если каменщик, стоя на лесах и шлепая на кладку раствор, насвистывает себе под нос, я тоже обязан свистеть, как он? И ходить в джинсах и красной рубашке—оттого что так одевается нынешняя молодежь?! У меня в то время даже не возникало еще ощущения опасности из-за того, что я от молодых отличаюсь, не возникало потребности быть на них похожим, я двигался естественным шагом по начертанному для моего возраста пути. И когда после холодной октябрьской ночи я замечал в оранжерее тронутую заморозками розу или до времени замерзшую хризантему, это не производило на меня особого впечатления.

Увы, с той поры, как Тамаш своим маленьким минометом взорвал мой покой и я принялся наблюдать себя, признаки увядания, правда весьма медленного увядания, начали обнаруживаться вдруг то в одном, то в другом—вернее, становилось видимым то, чего до сих пор я не видел. Не видел по легкомыслию, поверхностности или потому, что сам же отодвигал в подсознание—из самозащиты. Так, стоя однажды утром под душем и намыливая свои все еще хорошей формы ноги, я неожиданно увидел, что в области щиколотки, но значительно выше, вдоль большой берцовой кости и даже с переходом на икры, изнутри под белой кожей проступает паутина причудливо извивающихся тоненьких лиловых линий, напоминая гидрографическую карту с помеченными кое-где пятнышками озер. Так что же, вчера этого еще *не было*? Вчера я еще *не*

видел. И не коварство капилляров тому виной, а всего лишь трусость глаз моих, которые не желали заметить, что мои ноги стареют. Они начали стареть со дня моего рождения, даже раньше, у матери в матке, тогда еще не удаленной, и это будет продолжаться до тех пор, пока меня не поглотит могила.

Могила. Вот и слово это отсутствовало раньше в моем лексиконе...

На похороны я не ходил. Сперва отклонял докучные приглашения, отговариваясь тем, что боюсь вдруг забыться и начать вслух посмеиваться над лицемерными аттракционами, какими, за неимением лучшего, развлекает себя одетая в траур публика; позднее, когда к моему отсутствию привыкли, уже и не требовалось отговорок, чтобы, оставшись дома, молча, про себя, оплакать того, кто стоил слез. Таких, к счастью, бывало немного. Чем старше человек, тем больше отсевков застревает на его сите, последним — к сожалению, последним — оказывается он сам.

Я *привык* к тому, что не хожу на похороны, вот это меня и встревожило. Значит, у меня появились привычки, безошибочный признак старости — морщинки не только на коже, но и в душе. И вокруг меня к моим привычкам, оказывается, привыкли. Настолько, что, когда я однажды все-таки явился на похороны — когда ж это было?.. в прошлом году?.. позапрошлом?.. или, может, еще раньше? — люди стали перешептываться за моей спиной. Слух у меня для моих лет необыкновенно острый — по крайней мере еще недавно был таковым, — когда речь заходит о том, что меня интересует; ко всему прочему я глух был прежде, остался глух и теперь. На Фаркашретское кладбище меня выманили похороны мужа некой известной пештской красавицы. Был чудесный осенний день, природа застыла в осеннем уборе: что ж, подумал я,

прогуляю себя немножко. Увы, я не принял в расчет, что встречу так много знакомых.

— А этого каким ветром сюда занесло? — слышалось за моей спиной справа.

— Этот с чего появился? — прошелестело слева.

— Ему-то здесь что надо? — нескромно громыхнуло уже сверху, из туч, с неба, быть может, голосом самого покойника.

Шепот:

— А ты не знал? У него же связь была с вдовушкой.

— Да ну?

— Много лет!

— Кому ж это не известно?

Кажется, даже деревья, даже кресты на могилах с любопытством оборачивались мне вслед, когда я медленно брел по щиколотку в огненной осенней листве за похоронными дорогами, оттянувшись в самый конец траурного шествия. Там был tout Budapest¹, так почему бы и мне не почтить память покойного? Не прийти потому только, что в грош его не ставил? Это еще не резон. Я жалел его жену независимо от того, была у меня с нею связь или нет. Она шла за дорогами совсем одна, не опираясь ни на чью руку, гордо выпрямив стройный стан, вся в черном, с открытым лицом; длинная траурная вуаль, откинутаая через шляпку назад, покрывала ей плечи. В пяти шагах позади нее сопела, всхлипывая, воронья стая родни, за ними шли вороны официальные, тоже все в черном, а дальше — бесконечная вереница стариков и старух, и все они горячо кивали, словно твердили: ну вот, так-то! В смраде старых тел совсем терялся запах молодости.

— Оказывается, и тебя можно увидеть в кои-то веки?

¹ Весь Будапешт (франц.).

Я знал: из всех воронов и псевдоворонов, готовых на меня накинуться, он первым — как только увидит — вонзит в меня свой клюв. Он настолько стар и дряхл, что передвигается уже не на ногах — на разбухших варикозных венах, его голос так надтреснут, что об него спотыкаются даже мухи, его лицо известково-бело, словно его же посмертная маска, и, несмотря на все это, он так нахально назойлив, как будто в его жилах переливается жизненная сила какого-нибудь двадцатилетнего непоседы. Незачем и говорить, что он поэт, лирик.

— Так, значит, и ты иногда посещаешь кладбища?

— Редко.

— Знаем... это мы про тебя знаем. Ну да ведь бывают исключительные случаи!

И он еще шаловливо подмаргивает слезящимися оловянными глазками! Вдобавок ко всему — должно быть, вящего курьеза ради — он именует себя Яношем Курейсом-младшим, как будто можно вообразить Яноша Курейса-старшего! Прикрыв ладонью глаза от солнца — хотя солнца нет, а если есть, то светит по-осеннему слабо, — он отыскивает взглядом идущую за похоронными дрогами вдову.

— А ведь все еще хороша, м-м?... хе-хе-хе...

Ах ты, мумия ходячая, говорю я про себя, да ведь ты вот-вот рассыплешься, а все еще воображаешь себя мужчиной! Да сожми я тебя сейчас, ты так и вытек бы между пальцев, словно коровьи мозги. А ты еще причмокиваешь тут, будто губы твои и впрямь из плоти и крови. Сорок или сколько там лет ходишь ты в поэтах, обиженных родиной, и не замечаешь, что родина обижать тебя вправе?

Даже в медленном темпе траурной процессии он с трудом за мной поспевает. Я почти пожалел его — ведь как он вцепился в рукав моего пальто, чтобы не отстать, вернее, не упустить

исторической минуты, когда я встречусь у могилы с вдовой! Ибо в поэтических жилах этой дряхлой птицы кровь обращается быстрее, лишь подогретая событиями и скандалами интимнейшего свойства, которые время от времени будоражат общественную жизнь; он мог всегда с необыкновенной точностью сказать, у кого с кем была связь среди знаменитостей нашей культуры и когда она оборвалась.

Медленно взмахивая крыльями, над процессией пролетела ворона, потом другая, третья. Следом за ними беззвучно надвинулась густая черная стая. Вот сейчас какая-нибудь ворона, злая вешунья, оторвется от прочих и опустится на череп спотыкающегося подле меня старца, понадеялся я. Увы, пророческий дар утерян даже птицами.

А поэт своим дурно пахнущим ртом совсем приник к моему уху:

— Да верно ли, будто муж ни о чем не догадывался?

Я смотрю ему в лицо.

— Уж мне-то можешь довериться смело!

— Прошу прощения,—говорю я, высвобождая рукав из его когтей, отхожу. Но меня уже перехватывает другой милый коллега.

— А ведь и ты несчастый гость на кладбище.

Вороны всем скопом безостановочно кружат над нами, черные, масляно поблескивающие, отнимают у нас и последние остатки осеннего солнца. Мой коллега Шома Деметриус берет меня под руку, снизу—без всякого основания, спешу отметить,—мне подмигивая.

— А ведь и ты несчастый гость на кладбище.

— Несчастый.

— Да-с, это развлечение не для таких старичков, как мы.

Я взглядываю на него: как мы?

Мой коллега Шома Деметриус тоже лирик, но в полную противоположность коллеге, носяще-

му на лице маску смерти, так и пышет здоровьем: его присутствие на кладбище – богохульство. И другое коренное отличие: его никто не интересуется, он присматривается, прислушивается только к себе, говорит только о себе, никогда не оскудевая в жалобах.

– Вот и сюда еле дотащился, – сетует он, обратив ко мне красное, лоснящееся, словно подрумянившаяся свинья отбивная, лицо.

Он сам водит шестицилиндровый «мерседес», сноровкой посрамляя профессиональных шоферов. Он уже похоронил двух жен, сейчас на очереди третья.

– Что-то со мной худое творится, – вздыхает.

Над нами все так же – вороны. Мечутся туда-сюда, застилают черной пеленой всякую щель в кронах деревьев, сквозь которую мог бы пробиться солнечный луч; теперь они начинают покаркивать, правда пока тактично, лишь изредка бросая сверху отрывистое «карр...», «карр...», и, когда какая-нибудь на миг присядет на ветку, ветка сильно прогибается, словно на нее повесили мешок с грязным бельем. Они кружат стаями, друг над другом, улетают вперед, возвращаются, они будут провожать нас до самой могилы, а может, и за могилой тоже...

– Ты не слышал, что я сказал? Или тебе уже нет дела до чужих несчастий?

– Где у тебя болит?

Он прижимает руку к своему огромному, зыбкому от каплуньего жира животу.

– Ясное дело, рак, – говорю я. – Поджелудочной железы.

Он страдальчески улыбается. Он тоже – обиженный, как и все представители этого ремесла. Мне рассказывали, как однажды...

...вороны все кружатся...

...однажды он попросил аудиенции у главы государства. лабы пожаловаться ему, что заслуги

его не ценят и вообще ни во что не ставят. «Как же так,—спросил...

...вороны кружатся...

...как же так,—спросил его глава государства,— разве у вас нет премии Кошута?»

«Есть».

«А премия Аттилы Йожефа?»

«Тоже есть».

«И орден Труда есть, золотой, высшей степени. Так в чем же дело?»

«Вопрос этот весьма щекотливый, сейчас вы поймете,—ответствовал Шома Деметриус,— в самом деле, к кому ведь и пойти человеку, перед кем излить душу, как не перед тем, на чьих плечах заботы целой страны!»— «Ну-ну?...»— «Да вот, например, Лехел Фиолка, коллега мой,— выкладывает Шома,— прекрасный поэт и лично мне друг истинный, но как же так: стоит нам случайно оказаться с ним вместе в одном номере журнала, на литературной странице газеты или на каком-нибудь вечере—Фиолку непременно ставят первым, хотя всем известно, что по материнской линии он из швабов...»

Вороны кружатся, вьются над самыми деревьями, похрустывает гравий кладбищенских дорожек под негромкую болтовню обряженных в траур людей... Однажды, скрюченный ревматизмом, я лежал дома, как вдруг неожиданно-негаданно меня навестил мой коллега Деметриус. Посреди комнаты стоял растяжной станок—скамья двух метров в длину, оснащенная ремнями, сверкающая никелированными ручками, железными гириями,—на этом прокрустовом ложе новой эры врачи растягивали меня дважды в день по полчаса; у каждого, кто заходил ко мне, ноги прирастали к полу при виде дьявольского сооружения. Деметриус переступил порог, бросил на дыбу беглый взгляд, затем старательно обошел ее и сел у моей постели. Он даже не спросил меня...

...вороны...

...о том, что со мной, пожаловался на головную боль, которая...

...аспирин прими...

...которая мучит его с самого утра, должно быть, навязался грипп, недаром ведь он чихнул только что, надо бы измерить температуру, но у него нет времени, чтобы...

...вороны кружатся...

...мимоходом съел приготовленную на завтрак Тамашу булочку с ветчиной, попросил почистить том Рабле, через пять минут встал и, описав большую дугу, чтобы обойти станок, удалился. Даже уходя, он не спросил, что со мной...

— Бедная женщина, говорят, она любила мужа,—сообщил он мне сейчас, по-приятельски прижав к себе мою руку, вдруг остановился, тем принудив остановиться меня, и воззрился на огромную серую ворону, которая, опустившись на каменный крест, старалась удержать равновесие.—Вот так и мы качаемся между жизнью и смертью, друг мой. Что может означать эта тяжесть, вот здесь, над пахом?

— Возможно, там застрял какой-нибудь твой сонет. Выпусти его смелее, никто ничего не услышит.

Справа и слева на мраморных надгробиях ампелоний уже пожелтел, кое-где листки наливались кровью, ало блестели. Я подошел к стайке деревьев, совсем облетевших, но и над ними в светло-голубом небе порхали не ангелы, а кружились все те же вороны, в одиночку, и парами, и нестройными скопищами, они каркали все громче, надсаднее, эти вознесшиеся на небо деревенские плакальщицы. А внизу по земле двигались мы, куда менее безобидные. Уже почти у самой могилы я наткнулся на третьего моего дорогого друга. По достоинствам своим он сильно опережал первых двух.

– Ты – здесь? А ведь тебя не часто увидишь на кладбище.

– То есть как? – говорю я, отступая на шаг. – Да я ни одних похорон не пропускаю, если узнаю о них своевременно.

– Ой ли?

– Чтобы я лишал себя величайшей радости бытия?

– То есть?

– Радости, что пережил кого-то, – поясняю я. – Я и на твои похороны явлюсь, братец Пети.

– Что ты... что ты! – испуганно лепечет мой друг Петер Киеш. – Да и вообще я много тебя моложе.

– Какое это имеет значение! – отмахиваюсь я удрученно.

Это единственный способ заставить его замолчать: всем известно, что Киеш патологически боится смерти; сочувственно, встревоженно спросив его о здоровье, можно остановить поток даже самого смачного его вранья и клеветы. Мне же вынести в тот день еще и третий коллегиальный разговор вроде двух первых было бы тяжело.

– Что, я, на твой взгляд, скверно выгляжу?

– Ну-ну, какое там, какое!.. – прокаркал я, подражая кружившим над нашими головами птицам и предусмотрительно отступая от него еще на шаг.

Следует знать, что мой друг Петер Киеш – один из опаснейших представителей нашей здравствующей национальной литературы: стоит ему открыть рот, как из него, словно из поливальной установки, в лицо тому, кто окажется перед ним, извергается настоящий водопад распыленной слюны; если же Киеш особенно возбужден, то слюна разбрызгивается и более мощными зарядами, поражая глаз либо ухо жертвы. Соперники-поэты утверждают, что в его слюне содержится необычайно высокий процент солей

и ферментов, поэтому она такая едкая. Про него еще говорят, что слюна выделяется у него, особенно возле левого угла рта, даже в спокойном состоянии, в такие минуты он накапливает вдохновение для следующей клеветы.

— С чего ты взял, будто скверно выглядишь? — говорю я, отступая еще на шаг и отворачивая лицо. — Сколько я тебя помню, дружок, ты всегда такой бледный. Ну, правда, вот эта вздувшаяся жила на виске... Ты, верно, слишком много работаешь.

Те, кто его не знает — хотя кто ж не знает его из тех, кто обращается в кругах нашего ада, — даже не подозревают, какие подлость и хитрость скрываются за его мужественной наружностью, прямым крупным носом, широким лбом и располагающими к доверию голубыми глазами. Несколько десятилетий подряд он трудился в поте лица, пока не вылепил так называемый «image»¹, иначе говоря, фиктивный автопортрет, какими политики пользуются обычно как знаменем; основательно поразмыслив и все рассчитав, он избрал для себя роль «рыцаря справедливости». Он создал новую, отступающую от классической традиции систему: в глаза ругал, а за спиной расхваливал. Поскольку, в сущности, он был труслив как заяц, то, не успев высказать кому-то в лицо уничтожающее о нем мнение, со страху немедленно, едва тот отвернется, начинал превозносить его и таким образом убивал двух зайцев сразу: считался прямодушным, неустрашимым храбрецом и патриотом, а в то же время — замечательным образцом всепрощающей христианской любви. Если, например, он заявлял N. N. прямо в глаза, что его последний роман ниже всякой критики, то назавтра N. N. недоумевая, слышал, что в другом обществе Петер Киеш назвал его самым ярким представите-

¹ Образ (англ.).

лем новейшей венгерской прозы. Разумеется, даже при этой тактике он не избег за свою жизнь нескольких пощечин, которыми кое-кто успел его наградить в интервалах между изрыгаемой им хулой и хвалой.

— Так, по-твоему, я похудел? — обеспокоенно спрашивает он.

Вороны словно осатанели...

В противоположность большинству пожилых — да-да, вот верное определение: пожилых — людей я не имею обыкновения растроганно погружаться мыслями в собственное прошлое, оттого, быть может, что не слишком им занят, поскольку и настоящее мое, слава богу, доставляет мне достаточно забот. Несмотря на мою исключительно и необычайно ясную память, прошлое теперь все чаще видится мне как бы подо мною, представляется неким гористым краем, над которым клубится туман и где я, стоя на самой высокой вершине и глядя вниз, как будто различаю вдали пик пониже, еще дальше — вздыбившийся утес, но и они то возникают, то исчезают в перекатывающемся между ними тумане; выявить их из хаоса и определить точные очертания зависит, разумеется, лишь от меня. Но — к чему?.. Как я уже сказал, напряженное настоящее все еще доставляет мне достаточно забот. Воспоминания овладевают мной только в случаях исключительных, например на кладбище, когда я оказываюсь с ними лицом к лицу, но на кладбищах, как уже говорилось, я бываю редко. Вдова действительно была «все еще» хороша — это, впрочем, неудивительно при том, что она на двадцать — двадцать пять лет моложе своего мужа. Она шла за похоронными дрогами одна, ветер изредка шевелил откинутую на плечи траурную вуаль. Сейчас, восстанавливая для себя, какую запомнили ее мои глаза — лет десять... да, примерно десять лет тому назад... — я сам диалюсь свежести моей памяти: словно ожившая

«Женщина в черном» с картины Уистлера¹, она и ныне осталась на моей сетчатке стройная, с тяжелым узлом волос, со скрытой пружинистостью фокстерьера в длинных прекрасных ногах. И вновь возникает во мне еще более раннее, уже, слава богу, схороненное воспоминание: милое, прелестное лицо моей жены в большом зале Музыкальной академии, искаженное ненавистью, устремленное из ложи в лицо другой, прямо на нее глядящей женщины.

Мы подошли к могиле; вороны в небе, вороны на земле, они облепили ее со всех сторон. Человеческий глаз избирательно выделяет симметрию в явлениях мира, потому, возможно, и мне припоминается так, будто птицы, то брызгами осыпаясь с неба вниз, то вновь взмывая, охватили отверстую могилу точно таким же черным венком, что и траурное скопище внизу. Создавалось впечатление — по крайней мере у меня, толстокожего осла, — словно вороны обезумевшим своим карканьем кляли вершившееся внизу действие; в самом деле, возможна ли комедия отвратительней, чем эта, когда едва тронутое тлением человеческое тело опускают на шесть футов в землю, а затем с глухим стуком забрасывают грязью голову, грудь и все прочее; я уж не говорю о том, что подчас нельзя знать наверное, не хороним ли мы мнимоумершего. Посему в завещании, коему надлежит еще быть написанным, я непременно дам наказ — надеюсь, не запамятую, — чтобы, перед тем как опустить в могилу, мне проткнули сердце иглой (при таком-то большом сердце, как мое, довольно будет и простой булавки).

Карканье наверху, а внизу победные рыдания тех, кто пережил покойного, — с их помощью мне

¹ Уистлер, Джеймс (1834–1903) — американский художник-импрессионист.

удалось отразить наглухо запечатанным слухом и последнее надгробное слово, произнесенное уже над могилой. Я отступил как можно дальше назад, не желая, чтобы вдова меня увидела. Но в минутной торжественной тишине после окончания надгробного слова, пока могильщики не начали засыпать яму, Шома Деметриус, снова ко мне подобравшийся, вдруг громко чихнул — вдова обернулась в нашу сторону. До тех пор она, если не ошибаюсь, не плакала, но, когда взгляд ее упал на меня, ее глаза внезапно налились слезами. Она опустила голову, громко икнула, еще раз на меня посмотрела. Благодарение моей необыкновенной памяти, коя и сейчас, когда мне уже за семьдесят, подпортилась разве что самую малость, я в состоянии точно воспроизвести все за тем последовавшее: из горла вдовы вырвался короткий нечленораздельный вопль, красивое лицо исказилось странной гримасой, похожей на усмешку над собой, и она закатилась долгим истерическим хохотом, давясь слезами и смехом. Все бегом кинулись к ней.

Я уже отмечал, что человек в моем возрасте обрастает привычками и они отяжеляют работу мозга, как излишние жировые ткани затрудняют движения тела. Правда, инстинкт тоже нацеливает нас на формирование привычек, и, не создайся у нас навыка следом за правой ногой переставлять левую, мы никогда бы не продвинулись вперед. Впрочем, и так-то ушли не слишком далеко. С тех пор как Тамаш выбросил знамя восстания против того, что обречено, то есть против меня, я начал внимательней следить за собою, занялся прополкой моих привычек. Однако внесем ясность: человек в течение жизни приобретает привычки двоякого рода — необходимые и никчемные. Необходимо, например, дыхание. Я упоминаю об этом не из педантизма: в наше время слишком многим людям препятствуют дышать глубоко и в свое удовольствие,

причем действуют иной раз столь ретиво, что остается только прикрыть объект воздействия землей, дабы он не отравлял атмосферу и впредь. Необходимы также навыки, какие мы создали ради сохранения равновесия в общности во имя человеческого достоинства, например, обычай говорить правду в обществе лишь в том случае, если при этом мы никоим образом не задеваем интересы присутствующих. Точно так же и с ложью: мы лжем только тогда, когда нас не могут уличить. Светская беседа в подобные моменты принимает столь утонченные, менуэта достойные формы, что просто не веришь Дарвину, будто человек произошел от неразумных тварей. Неизбежным представляется также обычай учить потомков наших читать и писать: иначе как бы они унаследовали те бесчисленные варианты лжи из истории человечества, коими поддерживается существование нашего рода.

Но все это — вещи общеизвестные. Я пишу о собственном старении, а не о старении человечества. Тех стариков моего возраста, чьи привычки, обратясь в причуды, вынуждают окружение то и дело почесываться, я просто не выношу. Итак, надлежит выяснить, какие из укоренившихся во мне навыков должны быть изгнаны, иными словами, продолжая уже использованное сравнение, каковы те липомы и жировые подушки в моих духовных жировых тканях, которые ни так, ни эдак в обмене веществ души не участвуют и, следовательно, могут быть удалены без опасности для жизни хирургическим путем. Когда Тамаш впервые выставил свою осадную пушечку, я надеялся, что мой глаз, мои руки еще тверды и я сумею провести эту операцию.

Я говорил, что примерно в это время будто бы обнаружил на стволе моей старости некоторые признаки — чуть набухающие почки — скупости. Старости, сказал я?.. э-э, десять-то лет назад?..

Неверное словоупотребление! Темечко у меня хоть давным-давно под сединами, а ведь, по сути дела, только что заросло: мне уже случалось иногда набросать несколько таких страниц, которые, в сущности, с учетом средней моей одаренности получались чуть ли не совершенными. Не многие среди почтенных моих коллег это понимали, но, по счастью, находились изредка и такие, что бледнели, их читая. Вот в это самое время я и заметил, что нет-нет да пропускаю в рукописи слова, другие слова не дописываю, укорачиваю на одну букву, а то и на две; я относил это за счет спешки — необходимости поскорей закрепить на бумаге удачно сложившуюся фразу. Однако в ту же пору со мною раз-другой случились такие вещи, что я стал следить за собой внимательней; результат был ошеломительный: я установил, что не дописываю буквы только и исключительно из... скупости. Из скупости? И констипативные явления — уже в другом, более органическом пласту моей жизни, — возникшие в тот период, означали не что иное, как нараставшую приверженность мою к частной собственности.

Скупость! Я — скуп?.. Вот уж никогда не подумал бы, во сне бы не привиделось. Как уже было сказано, я знал себя беззаботным, даже легкомысленным, покуда незачем было экономить избыточные силы и скудные житейские блага; однако умножением последних, по-видимому, не компенсировалось уменьшение первых. Рост годов моих и благосостояния привел к обратному против ожидаемого результату: чем меньше оставалось у меня надежд на будущее, тем прижимистей относился я к моему настоящему. Словно угадав, что подлатать изношенные клетки хотя бы кое-как можно лишь форинтами, я стал скуповат и понемногу, почти неприметно весь как-то съежился физически и духовно. Способствовало этому и душевное потрясение,

нервный шок, вызванный грубым объявлением войны сыном моим, Тамашем.

Но в один прекрасный день глаза мои открылись: под впечатлением следовавших друг за другом событий, в общем-то незначительных, и изумления, даже потрясения, им сопутствовавшего, я понял, что веду себя по отношению к себе недостойно. Мой биологический возраст еще не заслуживает обызвествления старческими привычками. Мне еще рано, полагал я, становиться рабом привычек, хотя бы той же скупости, приличествовавшей лишь числу моих лет. И хотя мне уже есть что терять, но ведь может еще представиться случай и выиграть!

Место действия, где глаза мои открылись, — квартира моего тестя. Собственный портрет я разбираю обыкновенно в зеркале, какие являют мне лица моих ближних; с безошибочностью животного инстинкта я нахожу в них все те черты, какие хотел бы — поскольку в зеркале отмечаю их с неприязнью — вытравить из собственного изображения. Так человечество, словно огромная зеркальная галерея, учит меня, каким быть не нужно, а значит, косвенно, каким быть следовало бы. Разумеется, что уж скрывать, учение не всегда мне дается.

Не часто встречал я людей противнее моего тестя. Меня, при моем привередливом желудке, буквально тошнило иной раз от его присутствия. Понятно поэтому, что навещал я тещу, которая была мне симпатична, в такие часы — обычно уже под вечер, — когда надеялся не застать старика дома, то есть когда он отправлялся в свое неизменное кафе, чтобы посидеть в обществе других завсегдатаев, своих бывших коллег — банковских директоров. Чаше всего я заходил к теще в первых числах месяца, с определенной суммой в бумажнике, которою помогал ей в расходах по хозяйству; отсутствие главы дома представлялось тем более желательным, что из барственно-

го гонора денег от меня он не принимал: в мире человеческих отношений господину экс-директору банка ведом был лишь один принцип: «даю — беру». Но прежде всего, как бы он разыгрывал передо мною роль главы семейства, если бы вынужден был признать, что, с тех пор как строй в Венгрии изменился, то есть вот уже два десятилетия, содержу его я, хотя и без всякого удовольствия.

Моя незаурядная память всегда с большей или меньшей уверенностью находит в наслоениях прошлого те мышинные норки, куда я упрятывал казавшиеся мне относительно важными воспоминания. Благодаря этому я и нынче могу воспроизвести разговор с моей покойной женой, тогда еще девушкой, который произошел у нас накануне свадьбы. Мы оба были членами партии, оба работали в подполье, но познакомились только после войны, в районной парторганизации, и скоро сдружились. Она была на диво хороша собой, на зеркальных осколках моей памяти она и сейчас отражается в сотне моментальных снимков как перпетуум-мобиле, как памятник вечной молодости.

Э-эх, вечная молодость!..

Как-то она спросила, не знаю ли я, где можно недорого снять комнату. Что такое? Она покидает родителей? Почему? Потому что и до сих пор оставалась в родительском доме только из-за того, что квартира почтенного директора банка, ее отца, была удобным прикрытием для нелегальной работы. Значит, она не ладит с родителями?.. Пока буду жив, не забуду печальную, горько-страдальческую улыбку, с какой она вскинула на меня глаза, но тут же и отвела их, как видно не найдя в моем лице опоры. Голова ее поникла, чуть выгнулась стройная белая шея. Эта шея была сама покорность.

— Я не люблю моего отца, — сказала она просто. — Я люблю тебя.

Любит меня—потому что не любит отца?.. Может быть, так следовало истолковать ее слова, спрашиваю я себя сегодня, заглядывая в самые дальние тайнички мозга.

Эта минута все еще жива, она затаилась в своей мышинной норке и не истлеет, должно быть, пока я в здравом уме.

«И на что же вы собираетесь жить, позвольте осведомиться?»—спросил ее отец, сверкая мне в лицо глазами, увеличенными пенсне. Его белое треугольное лицо с правильными чертами и слегка выступающим вперед подбородком оставалось в течение всего нашего разговора неподвижным, и только у правого—или левого?—глаза иногда подергивалась под кожей крохотная мышца, словно грыжа, от усиленной мозговой деятельности выщемленная наружу.

Пенсне остро взблескивает. «Да-с, на что вы собираетесь жить, прошу прощения? На ваши книги? А какая у вас профессия—дело, я имею в виду? Ах, такового нет! И сколько же вы зарабатываете вашими книгами в месяц?» Блеск пенсне. Та наша беседа не принадлежит к приятнейшим воспоминаниям моей жизни. «Будущее моей дочери с вами не представляется мне обеспеченным. Но, может быть, у вас есть какие-либо иные источники доходов? Итак, их нет. Прискорбно. Предусмотрительный отец подумать об этом обязан. Уж не коммунист ли вы? Одним словом, коммунист. Прискорбно. И вы полагаете, вероятно, что этот режим может здесь удержаться?» Блеск пенсне. Как приятно, что даже сейчас, когда мне уж за семьдесят, я не нуждаюсь в очках, чтобы заглянуть собеседнику в самые печенки. «Ах вот оно что, вы верите в этот режим? И вы полагаете, что западные державы... Не отвечайте, я не хочу вести с вами политические споры. Имеется у вас квартира? Имеется, говорите. Две комнаты с обстановкой—в квартире, покинутой ее владельцем. Бе-

жал за границу. Понимаю. И вы не сгорели со стыда, когда получили от властей эту квартиру без согласия ее хозяев, временно ими оставленную? А что вы намереваетесь делать, позвольте осведомиться, если владелец вернется?»

Воспоминание о той нашей беседе даже сейчас меня не особенно развлекает, как не забавляло, впрочем, и в те времена—десять лет?.. восемь лет назад?—когда я ежемесячно совершал паломничество к старикам, да будет земля им пухом, чтобы вручить теще—хотя у меня по-прежнему не было определенного рода занятий и иных доходов, кроме как от моих книг,—ту сумму, с помощью которой она будет выплачивать накопившиеся за месяц долги и поддерживать в исправности физическое и духовное здоровье мужа. Я над ними не смеялся и даже не испытывал, как ни странно, ни малейшего удовлетворения, отсчитывая банкноты в руки красивой старушки, которая неизменно отвечала на это румянцем на щеках и неизменно, даже в глубокой старости, каждым движением напоминала мне свою дочь. Удовлетворение?.. насмешка?..—что уж там, право, ведь я почитаю себя знатком всякого рода житейских капканов, как и несчастных ног человеческих, в них попадающих. Даже если б я мог швырнуть пачку денег тестю в лицо, и это, пожалуй, не пробудило бы мои страсти.

Как было сказано, я старался навещать мою тещу по возможности в отсутствие мужа. Он мог не знать—и якобы в самом деле не знал, онто, директор банка!—как, каким образом выкручивается его супруга при жалкой их пенсии и все возрастающем прожиточном уровне. Но однажды, и как раз в тот период моей жизни, когда, спугнутый Тамашем, я стал присматриваться к незаконному, казалось мне, наступлению старости, я, на мою беду, застал тестя дома. Объявив, что у него болит горло, тесть сказался

больным; он обмотал шею белым шелковым шарфом и как раз сидел за полдником.

В ту пору он уже облачился в мундир старости и казался именно тем, кем был. Его нос истончился и вытянулся между набрякшими сумками щек, морщины на шее сплывались в низко обвисший, весь в красных прожилках второй подбородок, выпиравший из-под воротничка, а пенсне на водянистых глазах теперь не сверкало даже тогда, когда в приступе старческого гнева он с радостью ослепил бы противника. Вообще же он поразительно обмяк, и если во время беседы, прерванной заметно усилившимся за последнее время кашлем, брызгал слюной, то стыдливо озирался, словно просил прощения у присутствовавших от лица смерти, и потом долго, старательно вытирал платком губы, подбородок и складки на шее. Он был чистоплотен, этого у него не отнимешь.

— Вот и ты заглянул к нам, сынок, в кои-то веки!.. хе-хе...

Теща накрыла и для меня: кофе, молоко, печенье. Те же решительные движения, что когда-то у моей жены, та же легкая стремительная уверенность женщины, занятой своим делом. Старость ее не обезобразила, на еще красивом лице — все та же извечная улыбка женщины, кормящей мужчину.

— Вот и ты, сынок, иногда заглядываешь. Хе-хе-хе.

— Вы это уже сказали.

— Сказал?.. Хе-хе-хе... И господину Мюллеру всякий раз приходилось повторять дважды, чтобы он понял.

— Кто этот господин Мюллер?

— Кто такой господин Мюллер?.. Ты не знаешь?! Ну нет, как же не знаешь! Мой бывший бухгалтер. Еще в прошлом году протянул ноги, бедняжка... кхе... кхе... а ведь был моложе меня, верно, Элла? В прошлом году, верно? Мы

отдали ему последний долг, не так ли, Элла? Ведь мы любим посещать кладбище, откуда добираемся туда на своих ногах, хе...хе...

Тебе уже недолго, думал я, представляя себе, видя перед собой легкие старика...

— А что это вы там с женой моей шептались в передней? А?

Старушка покраснела.

Ты же отлично знаешь, ну что притворяешься, думал я.

— Он рассказывал мне о Тамаше,—сказала теща, все еще краснея, но превосходя меня присутствием духа.

Старец снял с носа пенсне, подмигнул мне подслеповатыми глазками и снова водрузил окуляры на место. Какой ни был он теперь пришибленный, но по-прежнему радовался от души, если мог кого-то принудить ко лжи. Еще большее, наивысшее наслаждение он испытывал теперь лишь тогда, когда ему удавалось ущемить кого-либо и материально.

— Что скажешь о дороговизне, сынок, а? Что скажешь? Как раз сегодня я вынужден был поставить в известность почтальона, который приносит мне пенсию... Элла, шарф опять сползает... так о чем я... ах да... что, пока мне не повысят пенсию, я, к великому сожалению, должен временно лишиться его чаевых. Нынче ведь и почтальон принадлежит к правящему классу, не так ли?... хе-хе-хе... так пусть и позаботится! Нука, что ты на это скажешь, сынок?

Нет, неудивительно, что жена моя любила меня больше, чем своего отца. Но вот как теща выдержала с ним рядом эти сорок или пятьдесят лет? В страдании, как видно, терпение не знает границ. Я отвел глаза от лица старика и стал смотреть на большой, шелестевший на ветру тополь под окном, на который как раз слетела воробьиная стая, а когда обернулся...

Это и была та минута, когда я получил

первый шок, минута, с которой началась для меня пора самонаблюдения; и еще несколько подобных минут за нею последуют. Я не поклонник так называемых символов, не люблю и обобщений, я стараюсь рассматривать явления в их естественных рамках, но на сей раз их подкрепляющие друг друга речи были столь явственны, что я не мог закрыть глаза на двукратное предупреждение. Тот, кто сидел сейчас передо мной и кого я до глубины души презирал и ненавидел, был похож на меня. Как ни различались мы по своему образу жизни, но оба мы были зачаты и рождены согласно общему закону и теперь, состарившись, вновь схожие, как пара сапог, одинаково плетемся к exitus¹.

Итак, я отвернулся, говорю, от шелестевшего за окном тополя, взгляд мой снова упал на тестя, и тут у меня перехватило дыхание... Я не преувеличиваю: у меня замерло сердце. Рука тестя сметала со скатерти хлебные крошки вокруг чашки совершенно так же — совершенно, совершенно так же! — как это делал я по утрам, выпив свою чашку кофе с молоком. Ошибки быть не могло, вся автоматика от начала до конца срабатывала совершенно одинаково. Старик прислонил левую ладонь к краю стола, правой рукой круговыми движениями собрал крошки в холмик, потом осторожно, чтобы не просыпать на пол, смел их в подставленную ковшиком ладонь левой руки. Некоторое время он удовлетворенно смотрел на маленький коричневый бугорок, потом — в точности так, как делал и я, — слегка отвел голову назад, открыл рот и быстрым движением забросил туда добычу.

— Кто крайцара не бережет, к тому и форинт не пойдет, — вымолвил он со вздохом, прикрыв глаза. Вокруг усов от удовольствия проступил пот.

¹ Исходу (лат.).

Я попрощался со старенькой тещей, ушел. Вздуродженный, чуть было не опрокинул чашку с недопитым кофе. До этой самой минуты я полагал, что сметаю в ладонь крошки порядка ради, чтобы стол около меня оставался чистым,—ничуть не бывало! Оказывается, мне было жаль отдать воробьям эти крохи. Оказывается, я пожираю даже излишки, лишь бы не делиться с птицами, что, слетевшись ко мне под окно, то и дело заглядывали в комнату. Оказывается, старческая скупость уже начала во мне свою медленную, разрушающую душу работу, и, если я не дам ей сразу же по рукам, она подрует все благородное сооружение.

Итак, старею? Уже?—спрашивал я про себя, сам тому не веря. Уже? Да может, это всего лишь несколько дурных привычек, приставших ко мне и незаметно окостеневших на поверхности души? Во всяком случае, нужно быть начеку—ведь недолго и обмануться! Необходимо исследовать все мои привычки, установить, что сокрыто под ними. Я чувствовал себя как пес, занявшийся ловлей собственного хвоста.

Уже на второй или на третий день выявилась еще одна достойная презрения привычка, еще один увесистый экземпляр скарденности. Обострившимся чутьем я ее обнаружил и, схватив за ухо, поставил в угол.

— Простите, учитель, вы еще не прочитали мою рукопись?—осведомился молодой автор.

— Я не учитель. Извольте называть меня по имени.

Но я пожалел его. Нахальный огонь молодости, полыхавший из его глаз, на миг разжег меня. Его худое, костистое лицо еще не вспучилось водянюкой самодовольства, он был свеж и требователен, он еще не удовлетворялся тем, чего стоил. Говорю, мне стало жаль его, да и чем еще я мог бы защититься от его презрения?

— Что это была за рукопись, простите?

Он послал мне рукопись своего романа по почте, в сопровождении длинного лестного письма. Рукопись я, разумеется, не прочитал. Впрочем, оно и лишнее: что первые романы молодых писателей плохи, известно заранее. Я же полагал в ту пору, что, чем читать плохой чужой роман, выгодней уж писать самому, все выйдет хоть сколько-нибудь лучше.

Однако позволь, придержал я себя. Выгоднее? Для кого? Ты это интересы человечества защищаешь? Или свое время жалеешь? Опять скаредничаешь, мелкота, про черный день запасаешься?

Я еще раз посмотрел молодому человеку в лицо: бояться-то его мне было нечего. По-моему, в писательских физиономиях я разбираюсь: этот, похоже, бесталанен как пень. Ничего, не будем мелочны, решил я, у меня еще есть что транжирить. Суровость ведь тоже разновидность скудости.

— Дорогой мой друг,—сказал я,—я прочитал ваш роман с великим удовольствием. Позвольте мне теперь изложить мое суждение детальнее...

Молодой человек тарашил глаза.

— ...знаю,—продолжал я,—молодежь не любит, когда ее хвалят в лицо...

— Вы изволили прочесть весь роман?—ошеломленно спросил молодой автор.

— То есть?

— Все восемьсот страниц... до конца?

— Да я не мог от него оторваться, любезный друг,—сказал я.— Не хотелось бы сейчас подробнее говорить о моем впечатлении...

— Только один вопрос, учитель...

— Ни единого,—сказал я.—Свое мнение я изложу в рекомендательном письме, которое намереваюсь послать моему другу Ф.Л., главному редактору в...

На его лице—засасывающая тупость болот; я все больше воодушевлялся:

— Как известно, мой молодой друг, пожилые писатели моего возраста одевают своим признанием весьма экономно... Вот-вот, выражение верное, экономно... С течением времени, разочаровавшись и в самих себе, они по отношению к другим тоже становятся осторожнее. Хвалить не любят, да оно и не получается больше, эгоизм мешает. В скарденности своей они всякий успех хотят оставить себе и, уж конечно, не приложат усилий, чтобы и незрелый юный простак вроде вас—разумеется, я аттестую вас так исключительно для примера—ухватил себе листик другой из их избыточных лавров. Дарование! Молодое дарование!.. Да ведь в этом нет никакой заслуги, друг мой, это все равно что поллюция у подростка. Нет, сумейте-ка вы в шестьдесят лет хоть изредка написать одну хорошую страницу—вот это будет уже настоящее! Но до шестидесяти лет пусть никто не смеет считать себя талантливым.

На подоконник сел воробей, заглянул ко мне в комнату, потом привычно застучал в окно, как бы напоминая. Я засмеялся: уже и у моих воробьев завелись привычки.

— Я должен понять это так, учитель...—выдавил из себя молодой человек, явно обескураженный.

— Можете никак не понимать,—сказал я.—Все это не относится ни к вам, ни ко мне. Я говорю обобщенно. Своими молодыми орлиными глазами вы, вероятно, уже заметили, что у людей пожилых имеются привычки, с которыми они расстаются весьма неохотно. Одна из самых навязчивых привычек—отрицание, их излюбленное словечко «нет». Если вдруг какое-нибудь свежее явление, скажем вроде вас, попадется такому склеротику в когти, не дай вам бог напечатать тогда хоть строчку. Я вот решил сейчас, что рекомендательное письмо моему другу редактору писать не буду...

По внезапно посеревшему лицу молодого человека я догадался, что из всей моей речи он уразумел лишь последнюю неоконченную фразу. И я вдруг пожалел его: не его же, право, вина, что он родился жертвой. В его глупости было какое-то невольное очарование – вот как сейчас, когда он вскинул голову и, сцепив челюсти, с ненавистью взглянул мне прямо в глаза.

– ...рекомендательного письма посылать не буду, – продолжал я, – а напишу о вашем романе статью и отошлю в редакцию вместе с ним. Статья о романе, который еще в рукописи... а?... Ну-с, что вы на это скажете?

Вот так, шестидесяти с чем-то лет от роду, я вновь поступил в школу, но на сей раз преподавал в ней я сам. Мне приходилось нелегко, я оказался строгим учителем. Поход против старости – так назвал бы я эту учебную программу, которая обширностью своей смело могла бы соревноваться со всем, что было накоплено по этому предмету, начиная с Цицерона и до современных ученых-геронтологов. Разница состоит лишь в том, что заметки эти – кои в день моей смерти подлежат уничтожению, не правда ли? – я пишу не затем, чтобы лишний раз посердить человечество, а исключительно для собственного удовольствия.

В этот период я пересмотрел даже самые мелкие, домашние мои привычки и с садистическим сладострастием всем им – по крайней мере так говорится, – всем им свернул шею...

Из опасения наскучить читателю, то есть самому себе, перечислять все мои покушения этого рода не стану. Привычки отдельно взятого человека интереса не представляют; их значение возрастает тогда, когда к ним пристращаются и другие, когда пристрастия одного человека распространяются, словно заразная болезнь, и становятся уже всенародной, национальной причудой, какой стало, например, у нас на роди-

не занятие литературой. Писание—чтение: пишем мы все, а кое-кто даже читает написанное, прежде чем отдать в типографию.

Мои личные пристрастия много скромнее, я и не думаю, чтобы они стали однажды всенародным достоянием. Упомяну поэтому только для примера и, пожалуй, документальности ради о привычке по утрам после душа—принятие которого также имело свой весьма строгий ритуал—пользоваться для бритья каждый день другим кремом или мылом, брать со стеклянной полки над умывальником, согласно строжайше установленному порядку, полагающийся для данного дня тюбик или спрей, а затем, также поочередно меняя, английский, польский, французский или отечественный лосьон. Отнюдь не в угоду космополитическим склонностям—клянусь в том!—а просто из желания преодолеть скуку ежедневных гигиенических процедур я старался навести некий порядок в миниатюрной истории моих будней, иными словами, взнудать кроющиеся в случайности анархические бури. Со временем я так в этом поднаторел, что уже на пути в ванную знал, что в этот день на очереди австрийский крем для бритья «Элида», который стоял на полке вторым справа, а после бритья—стоящий с ним рядом французский лосьон «Экипаж», и знание это холодной объективностью фактов, как твердо установленная отправная точка начинающегося дня, приносило покой в мою бедную душу и давало силы вынести предстоящие двадцать четыре часа. И если иногда все же случалось так, что память меня подводила и я перед зеркалом, морща лоб, соображал, действительно ли на очереди лосьон «Табак», меня охватывала вдруг безумная тревога, словно какого-нибудь дипломатического служащего, потерявшего тайный код для телеграфного шифра своего государства.

Ну что ж, больше не станем играть в эти

игры, сказал я себе через неделю-другую после перевернувшей мне душу встречи с тестем, когда, оправившись от первого потрясения, я решил устроить генеральную уборку и смену режима. Еще не время обрести старческими привычками. Успею еще походить в стариках. Все правильно, пусть будут привычки, но только при условии, что ты в любой момент в состоянии их изменить. Право на привычки, смысл привычек определяются их полезностью; если же они ограничивают нашу свободу, от них следует избавляться. И с бодрым «а ну-ка!» я набросился на полку в ванной комнате: вмиг переворачивая, растолкав, разбросал тюбики, флаконы, сухие и пенистые кремы, помазок, бритву, словно задался целью отомстить всему миропорядку за некую исконную обиду. И даже распевал при этом во все горло, как в дни давно минувшей молодости, в героическую эпоху омовений под ледяным душем.

Замечу к слову, что и поныне после теплого душа непременно окатываюсь холодной водой.

Пылая страстью неопита, еще в тот же день, выйдя из ванной и сев к столу завтракать, я занялся моей домоправительницей Жофи. Пока она подавала мне завтрак, я внимательно ее изучал, даже принимался тайком, а сам думал: сумею ли я когда-нибудь отвыкнуть от этой пахнущей кислятиной старушенции. Или существуют привычки, которые отсечь нельзя, ибо вместе с ними изойдет кровью и нечто более тонкое, глубинное? Да я и не сказал бы вот так, с ходу, она ли стала моей привычкой или я-ее... Впрочем, пока я оставил этот вопрос открытым. Она пришла к нам, когда я был еще подростком, и, если мы-пережив мать мою и отца-не прикончили друг друга за минувшие не знаю сколько уж лет, если я не пристукнул ее ножкой стула, а она меня не отравила, подбросив яду в кофе с молоком или в соус из шпината, зна-

чит, мы являем с нею такой блистательный пример человеческого долготерпения и милосердия, что не пристало лишать его ореола: да послужит пример сей в поучение всему человечеству. Итак, выдворять мою старушку пока нет необходимости – на том я и покончил с утренними медитациями, слушая между тем не без содрогания, а, по существу, с истинным облегчением ее медлительное шарканье по комнате, от которого по спине бежали мурашки, и глядя, как асимметрично движутся ее руки, накрывающие на стол. Впрочем, досталось и ей пылу-жару от очистительного костра, что разжег я в тот день под собою... Или досталось-то все-таки только мне одному?

– Опять вы ставите мне эту старую кружку?

Жофи сочла, что ослышалась, даже не ответила.

Пузатая емкая кружка в голубой горошек осталась мне от матери: с тех пор как она умерла, я всегда из нее пью мой утренний кофе – вернее, Жофи меня из нее поит, вероятно, в знак особой милости.

– Вы не слышите, что я говорю?

– Слышать-то слышу, – проворчала старая домоправительница, в то же время пододвигая кружку мне под нос, – да только в толк не возьму, о чем вы. Чем же это не угодила вам кружка?

– А тем, что надоела мне.

– Да как же такое надоела, когда это мамыши вашей кружка! – возмущенно воскликнула Жофи. – Ох, молодой барин, молодой барин, уймись вы, не то бог накажет!

Я удивился, к этому доводу я не был готов. Вот ведь какие противоречия умещаются в душе человеческой: что же сберегла в своей памяти эта старая женщина о моей матери и что так любила в ней – в той, кому должна была прислуживать? Ну конечно, продолжал я про себя, ото-

двигая кружку как можно дальше, раз уж выпала нам судьба быть кому-то слугой, то как же и терпеть-то себя иначе, как не полюбив путы, в которых нас держат. Но призывать бога в защиту какой-то обшарпанной кружки!

— У бога не найдется иных забот?—спросил я.

— Постыдились бы, молодой барин,—сказала старуха, опять пододвигая мне кружку.—Уж такой вы сирота одинокий, будто сорняк придорожный живете, ни отца у вас нет, ни матери, единственная жена вас тоже покинула, а вы еще и память об них уничтожить хотите?

— Эту кружку вы унесите, Жофи,—сказал я,—чтобы я ее больше не видел. А воспоминаниями я уж займусь, когда состарюсь.

— Да вы и так-то уж довольно старый,—едко отозвалась Жофи, наставив на меня свой крючковатый красный нос.—Еще-то чего дожидаетесь, молодой барин?

Я засмеялся.

— Вы как думаете, сколько мне лет?

— Ничего я не думаю, потому как и без того знаю, молодой барин,—ответила старуха.

Жофи была в самом своем воинственном духе, видно, ночью ее порядком измучила подагра.

— Ничего вы не знаете,—сказал я ей.—Откуда вам знать, когда я и сам-то не знаю! Или вы шпионили за мной?.. Силенок не пожалели, доплелись до районного совета, чтобы выведать мой год рождения?

На этот раз старая домоправительница отмолчалась, не успокоились только ее глаза: сперва она их опустила, потом подняла снова и, как будто пожалев меня, надолго задержала на мне их тускло-голубой взгляд.

— Старость, молодой барин, не обманешь,—сказала она немного спустя.—Званная ли, незванная, она тут как тут. Если бы вы, молодой барин, не бились против нее, а приняли бы по-доброму то, что господом отмерено...

– Жофи, – сказал я, – не утруждайте вы так господа бога!

– Ему это не в тягость, – сказала Жофи негромко. – Я ведь одного хочу, чтоб жизнь ваша, молодой барин, была поспокойнее, чтоб не мучили себя понапрасну из-за того, чего не изменишь, как ни бейся. А вот ежели бы смирились вы с тем, что сама природа ваша требует... – И опять этот долгий жалеющий взгляд на моем лице. – И что возрасту вашему подходяще...

– Да что вам мой возраст покою не дает, ведьма вы старая!

– Ладно уж, не кипятитесь! – огрызнулась старуха. – Пейте кофий свой, покуда горячий. Не бойтесь, я уже недолго буду надоедать вам своими речами.

– А вы меня не пугайте, – сказал я. – Теперь же, пока не настала та прискорбная минута, уберите с глаз моих эту кружку! И с нынешнего дня каждое утро приносите мне кофе в другой чашке, кружке, плошке, каждый день в другой, вы меня слышите?

Жофи опять опустила глаза и, мне показалось, изменилась в лице. Но прежде чем ее дрожащие пальцы успели дотянуться до кружки, я схватил ее сам, поднял и швырнул в угол: то была добрая крепкая кружка, она разлетелась всего на три или четыре черепка.

– Это чтобы у вас не было угрызений совести, Жофи, – сказал я. – Вы правы: затеял грязную работу – делай ее своими руками.

Я упомянул в начале этих записок, что мы с сыном живем совсем одни вот уже семнадцать... восемнадцать или девятнадцать лет; это, впрочем, нуждается в уточнении. В раннем отрочестве Тамаш провел несколько лет в Швейцарии, сперва у доктора Шмидта, в пансионе св. Галлена для мальчиков, дабы он усвоил немецкую речь, затем еще несколько лет у своей тетки в Женеве – ради изучения французского. Говорю

все как есть: мне хотелось избавиться от него на некоторое время. Моя квартира была чересчур заполнена живостью его детских телодвижений, а главное — голосом, я же с возрастом счел себя обязанным больше заботиться о необходимых рабочих условиях для моего пера и покоем для физического моего существования. Говоря по-просту, я изнежился. Было ли это позволительно? Не нужно себя убаюкивать, думал я уже тогда: если человеку за семьдесят, он вправе, хотя к миру по-прежнему оборачивается еще колючей своей стороной, от самого себя желать некоторых себе послаблений. Разумеется, в меру: ходить в шлепанцах не следует даже дома, а распускать корсет самодисциплины допустимо разве что во сне. Мои умственные возможности, казалось мне, полностью сохранились, да и мир эмоций не затухает еще под покровами старости, вот только меньше стало во мне сочувствия да прибавилось, напротив, злорадства: меня все больше сердит теперь людская самоуверенность. Вверх, к Луне? Еще выше? Нет, никакой ракете не унести нас столь далеко в бесконечность, чтобы не последовало за нею, уцепившись хоть за последнюю ее ступень, человеческое тщеславие, не обогнала бы зависть. На каком же небесном теле, спрашиваю я себя, скрючится последний скелет нашего человеческого рода с вымерзшими слезными мешочками под пустыми глазницами?

Что до меня, то, хотя мой гонор, мои претензии всем известны, я вполне удовольствовался бы теми маленькими сюрпризами, какие предлагает нам наш земной шар. Мои сны, правда, не ведают преград и потому неосуществимы, но я вполне удовлетворился бы — да еще с какою радостью! — исполнись хотя бы самый непритязательный из них: сумею я помирить, например, господина Йожефа Кеттауера, моего соседа слева, с господином Иштваном Барцой, моим сосе-

дом справа, которые из-за кем-то переставленного мусорного бака теперь спят и видят, как бы прикончить в один прекрасный день недруга своего ступкою либо лопатой для угля,— и был бы поражен до глубины души, если бы господь даровал мне вдосталь ума и терпения, чтобы это мне удалось. Выбраться куда-либо подальше я не осмелился бы и во сне. Ну, пройти, куда ни шло, еще дом, вверх или вниз по улице, забраться в автобус в час «пик», приблизиться к конторскому столу какого-нибудь чиновника. Сесть, наконец, в электричку, побывать на душистой мессе¹ в Ниредьхазе среди дряхлых богомолков. Но уж за границу я даже взор бросить не решился бы. Всей оставшейся мне жизни не хватило бы, чтобы перечислить, под сколькими углами перекрещиваются человеческие страсти и сколько потребовалось бы бальзама и корпии, чтобы вылечить, заговорить хотя бы только затаившиеся в подсознании каждого человека обиды.

Повторяю, я сержусь, хотя и посмеиваюсь иной раз, наблюдая непостижимое кружение несообразностей. Или мне, чем брюзжать, предаться лучше отчаянию — то есть наказать себя же?

Важно не забывать об одном: коль скоро я не жалею других, то и себя жалеть нечего. Услышав, увидев либо прочитав в газете что-то, на мой взгляд, возмутительное, я должен помнить: это произошло не затем, чтобы воздействовать на мою печень и слезные мешочки, и не обязательно ко мне взывают за словом справедливости. Не я — вершина мира. И очень даже вероятно, что этот мир вертится не подо мной, а надо мной. Что двум каменным скрижалям Моисеевым в лучшем случае нашлось бы место в «Мадьяр немзет» под рубрикой «Юмор», да

¹ Имеются в виду тогжественные богослужения по праздничным дням, на которые сходилась «чистая», надушенная публика.

и то успех они имели бы скромный. «Не желай... у ближнего твоего...» Ну и не желай! «Не убий!» Ха-ха – усмехнется читатель, если уже не перевернул страницу.

Однажды, когда сын мой Тамаш еще пребывал в Швейцарии, ко мне на квартиру явилась некая молодая авторесса. Несмотря на мои просьбы держать в редакции под замком номер моего телефона и адрес, не проходит недели, чтобы ко мне не постучался какой-нибудь непрошенный посетитель. Барышня Сильвия Вукович утверждала, что получила адрес от меня самого. Я это отрицал, ссылаясь на безукоризненную память.

– Ну что вы, барышня, – сказал я, – моя память служит мне все еще безотказно, я помню, представьте себе, девичье имя моей матери, да что там имя – помню год ее рождения... Так как же вы...

Вероятно, она приняла мои слова за самоиронию, ибо вдруг улыбнулась.

– ...как же вы могли вообразить, что я способен запомнить встречу с такой очаровательной особой?

Что и говорить, она была на редкость хороша собой.

– Мы встретились в редакции «Уй ираш», учитель...

– Только не учитель!

Она опять улыбнулась.

– ...мы вышли оттуда вместе, и вы были так милы, что даже проводили меня чу-чуть, помните?

Она мне улыбнулась. Если бы не эта улыбка, я ее выставил бы за дверь при всей ее красоте. Она лгала: я не имею обыкновения провожать авторесс, я боюсь их как огня. К тому же барышня Сильвия – которую я несколько позже и лишь самое короткое время, в минуты моей слабости, стану именовать Сильвой – вся извива-

лась, словно змея, отчего и внутри у меня все извивалось, переворачивалось, она напоминала мне когда-то случайно увиденную певичку из шоу, одним словом, она не только не возбуждала мое мужское начало, но, напротив, смиряла его, как, впрочем, и ее протяжный, сладенький, тоненький голосок, от каждой модуляции которого в лицо вам так и брызгала капелька искусственного меда. Я утерся.

— Ведь вы вспомнили, ну чу-чутьточку?

— Вы родились в провинции, барышня?

— Ах, что вы, учитель. Я здесь...

— Без «учителя».

— Ах, ах, тысяча извинений. Я родилась здесь, в этом прелестном Будапеште, я его обожаю. А почему вы спрашиваете?

— Ежели вы родились здесь, откуда это «чу-чутьточку»? — проговорил я злобно, в предчувствии близкого своего поражения. — Возможно, так принято изъясняться где-нибудь в Балмазуйвароше, но здесь...

— Вы прелесть, — сказала посетительница. Но улыбалась.

— И когда же могли мы повстречаться в редакции «Уй ираш»? — спросил я. — Будьте любезны, помогите моей во всех прочих случаях безукоризненной памяти.

— Летом, — ответствовала дама. — В августе.

Она лгала. В августе меня и в Пеште-то не было. Или был? Какая разница — и почему бы ей не лгать? Эта ложь в конечном счете есть просьба извинить ее за вторжение, это, собственно говоря, признание моего, в сущности, незаконного и не имеющего оправданий стремления жить уединенно в человеческом обществе. Это, собственно говоря, лишь признание того факта, что из нас двоих я сильнее и что в жестокой борьбе, какую ведут друг с другом люди, мужчины и женщины, ей бы следовало спастись, бежать от меня. Ложь — единственная возможность для

слабых удержаться на сей земле, иначе те, что сильнее, непременно вырвали бы ее у них из-под ног.

— Вы правы, барышня,— сказал я,— не будь лжи, человечество бы давным-давно стинуло.

Она улыбалась.

— Не понимаю.

Но она понимала, понимала лучше, чем я сам. Ибо была женщиной, к тому же женщиной того типа, какие лгут не крошечным своим умишком, а всеми своими клетками.

— Одно из великих заблуждений моральных кодексов, барышня,— сказал я, к ней обращаясь, но адресуясь к себе,— состоит в том, что в них осуждается ложь, которая в действительности есть одно из величайших изобретений человечества. Представить какое-либо сосуществование без лжи невозможно. Ложь соединяет всякую общность, коя в противном случае распалась бы на обезумелые, кровоточащие частицы...

Дама мне улыбалась.

— Ах, но вы же прелесть!

— ...ложь,— продолжал я, с непонятной нервозностью расхаживая по комнате,— смягчает нравы, ибо облекает грубый интерес в пристойные одежды, и, таким образом, он может в относительно приличном антураже отстаивать то, что почитает своим правом. Но она не только обеспечивает приличия...

— Ах, вы прелесть,— произнесла барышня Сильвия.— Я думаю совершенно так же, только вот выразить так бы не могла.

— Не сомневаюсь, барышня, что вы думаете совершенно так же,— сказал я.— Итак, ложь обеспечивает не только внешние приличия, она приносит мир в наши чувствительные души, щадит наши сердца, поскольку мы ведь можем лгать и самим себе тоже. Лично я намерен лгать себе до самого моего смертного часа.

Вдруг мне все надоело, стало противно.

— Собственно говоря, что вам от меня угодно, барышня?

— Ах, вы, право же, душка,—щебетала дама.— Угодно, чтобы вы перестали бегать взад-вперед по комнате, потому что у меня уж голова кружится. Может, вы бы присели рядом со мной на диван?

Она улыбалась.

Меня обезоружила ее улыбка. Выпроставшись из лепестков этого красивого, но банального создания, улыбка явила собой для меня самое вечную природу—то была всезнающая улыбка женщины. Незабываемая, бесстрастная улыбка природы. Не все ли равно, ради какой бесполой цели призвала ее эта девица себе в помощь: на несколько минут она высвободила меня из скорлупы самоуверенности и наполнила блаженным сознанием бесконечной собственной моей незначимости. Какая важность, что я делаю, чего не делаю! Какая важность, что я старею и рано или поздно выйду из употребления. И потом, после, творение будет изредка улыбаться. На несколько минут я стал легким, как бесплотная пушинка, все бремя ответственности меня вдруг покинуло.

— Собственно говоря, что вам от меня угодно, барышня?—повторил я, когда пришел в себя.

Да и что тут такого, если начинающая молодая писательница обращается ко мне за помощью?.. если в жестоких внутренних битвах литературной жизни ее предполагаемая одаренность пускает в ход как вспомогательное средство и красоту? Она знает, что у меня есть некоторое влияние в этих по-разному пахнущих литературных зарослях, что с моим словом обычно считаются, что уважают (или, по крайней мере, делают вид, будто уважают) и, *last but not least*¹, боятся меня, несмотря на то, что

¹ Не в последнюю очередь (англ.).

я всем отвечаю на приветствия. Одним словом, я *potens*¹, и было бы противоестественно, противоречило бы так называемому здравому смыслу, если бы красивая молодая женщина не попыталась войти или хотя бы постучаться в калиточку моей потенции ради достижения блаженства совсем иного рода. О господи, она хочет стать писательницей, ну так пусть будет ею! Уровень литературной продукции страны из-за этого существенно не понизится.

Но совесть моя? Скромнее — мой вкус?

Да так ли он непогрешим?

— Ахбожемой, я так тронута, учитель... вы все-таки приняли меня, безвестную, скромненькую писательницу... Ахбожемой, я сижу сейчас здесь, на вашем диване... вы ведь тут отдыхаете? Ну посидите же со мной чу-чутьочку!

— Только не «чу-чутьочку», — проворчал я.

— Ахбожемой, вот опять вы...

— Я не сяду сейчас подле вас, барышня, я занят, — сказал я. — Оставьте рукопись и позвоните через неделю, за это время я, вероятно, прочту ее.

Но она не позвонила, она, не жалея трудов, опять явилась сама. Ее писания ничего не стоили, решительно ничего. Я бранился, их читая. Черт возьми, бормотал я про себя, почему было не вселить в это тело и дух, ему соответственный? Явилась бы новая герцогиня Сансверина. Но духовности в ней нет ни крупинки. Хотя бы столечко, чтобы можно было опубликовать ее опус в каком-нибудь венгерском журнале. Будь я Эрнестом Рануцио IV, тираном пармским², я приказал бы эту даму казнить, дабы исправить роковую ошибку природы — отврати-

¹ В силе (лат.).

² Эрнест Рануцио IV, как и герцогиня Сансверина, — действующие лица романа Стендаля «Пармская обитель».

тельное совокупление тела с пустотой, но, увы... Или велел бы ее отравить – все было бы приятнее, чем с нею беседовать!

На протяжении долгого жизненного пути я привык в глаза говорить писателям правду – прошу прощения: высказывать мое суждение; эта роль мне более всего по вкусу. Я не делаю исключения даже для себя, разве что изредка. Бывало, сердце мое обливалось кровью при виде какого-нибудь симпатичного юнца, но я преодолевал себя. Уж не по этой ли причине молодые писатели нынче все реже переступают мой порог, дабы узнать мое мнение о своей работе? Противный старикашка – должно быть, таким они меня видят. Одряхлел, где уж ему поспеть за нами. В молодости, правда, выдал несколько неплохих вещиц, да ведь когда это было!.. Но если и залетит ко мне в кои-то веки неосведомленный воробышек – вроде этой барышни, – чтобы получить напутствие, то и от этого я получал не много радости. Воробышек тоже.

Да, видимо, я все-таки старею, мне не по вкусу собственные мои пристрастия. Я стоял у окна, спиною к дивану, где расположилась, надо думать, посетительница, и смотрел в окно. Стоял, дивясь необычайной своей растерянности. Что сказать ей? С чего начать? За моей спиной послышался смех, радостный свежий смех.

– Чему вы смеетесь? – спросил я, не оборачиваясь.

– Тому, как нервно вы барабаните по стеклу. Ой, уж не боитесь ли вы меня?

– Милая барышня, – выговорил я, – я прочитал вашу рукопись.

Но я опоздал: когда я к ней обернулся, она стояла уже голая, разбросав где попало свое платье, белье – дымчатые колготки очутились на письменном столе, прикрыв только что начатую мною работу. Я мог бы счесть это знамением, будь у меня настроение и время для мудрствования.

ний. Как видно, не было ни того, ни другого. Я опустился в кресло и смотрел на стоявшую у дивана юную даму. Ее тело было совершенно.

Она улыбалась.

— Идите же!

Я все так же сидел и смотрел на нее.

— Столь прекрасная молодая женщина — редкий подарок для старика, — сказал я. — Позвольте же еще немного полюбоваться вами. Здесь тепло, так что вы не замерзнете.

Она улыбалась.

— Да идите же! — позвала она еще раз.

Спустя неделю я отправил Тамашу в Швейцарию письмо. Пусть едет домой. Пусть в доме будет мужчина.

Надобно прибавить, что я решил: Тамаш нужен не только в доме, он нужен мне самому. В доме — очень уж затхлым стал в доме воздух от суммы моей и Жофиной старости, его следовало хоть немного разрядить движением молодости, чтобы мы не застыли навечно в собственном унылом безмолвии. Ибо, сколько ни ссорился я с Жофи из-за разной ерунды, как ни огрызалась она мне в пику, обоим нам давно приелись все оттенки и повороты наших речей, и где уж нам было прислушиваться к их смыслу! Что могли мы сказать друг другу, что разъяснить, еще не разжеванное до отвращения за минувшие десятилетия? Когда и невысказанные-то мысли друг друга знали все наизусть?!

А тут еще Жофи с некоторых пор не давала покою: заберем да заберем мальчика домой.

— Велите мальчику домой ехать, молодой барин, — твердила она. — Хоть бы уж повидать его, пока жива.

— Ну тогда можно не торопиться, — сказал я. — Ведь это вы будете хихикать у моей могилы, не я у вашей.

Старая домоправительница засмеялась.

— Не приведи господь,—сказала она.—Да я б все выла у надгробия вашего целые дни напролет, покуда и меня дьявол не унес бы.

— Дьявол?—буркнул я сердито.—Так вы и в аду намерены за меня цепляться?

Старуха не ответила.

— К чему разговоры долгие, молодой барин, пора уж мальчика домой призвать,—сказала она немного погодя.

— Зачем?

— Так ведь нужен в доме мужчина,—сказала старуха.

К стыду своему, признаюсь: она меня так разозлила, что в тот день я пришел домой поздно ночью, когда знал наверное, что она уже в постели. Не хватало, чтобы она меня и сна лишила, меля всякий вздор своим неугомонным грубым языком, чтоб и в сны мои совала свой толстый красный вездесущий нос! Мало ей, что обирает меня до нитки, так надо мною же еще и посмеивается?! Как посмеиваются свысока кичащиеся своим опытом взрослые над несмышленным дитятей: погоди, мол, и тебя жизнь проучит! Будешь ужо и ты плестись нога за ногу! Словно не видит—я и так-то не хожу, а едва плетусь, только что ноги переставляю... А еще в последнее время слышится в ее речи вроде бы жалость: вижу, мол, вижу, бедняжка ты, вижу, что через силу бредешь, похоже, и у тебя темечко-то зарастает... Стоит ли даже упоминать, что ревнивая ведьма давно отметила про себя, с каких пор—а правда, с каких пор? одному богу ведомо...—не проводил я ночи вне дома, точно так же, как прежде, она всегда безошибочно определяла ведьминским своим нюхом, когда я бывал в обществе женщины, и всякий раз давала мне это понять едва заметным, мстительным подрагиванием ноздрей.

Визит барышни Сильвии озадачил не только

меня, но, пожалуй, и Жофи тоже: она подозрительно поглядывала на меня то справа, то слева, если же я случайно оборачивался к ней, поспешно отводила глаза. Сумей я когда-нибудь назвать ее матерью, то есть не стесняйся ее, я спросил бы прямо: ну, ведь ты же все знаешь? Ты видишь сквозь стены, слышишь через них даже шепот? Тебе известны и самые низменные мои сны, да?

А тем не менее ты не знаешь всего, продолжал бы я. Ты не знаешь, что в ночь после того печально окончившегося приключения я лежал с тою барышнею — в ее отсутствие — и доказал самому себе, что время моего мужского «я» еще не миновало... Разумеется, попусту растрачивать силы уже не следует — это удел легкомысленных двадцатилетних юнцов, из которых так и брызжет вокруг радость жизни. Я же, насколько мне известно, уже не двадцатилетний юнец, хотя и не могу того подтвердить ни метрикою, ни свидетельством о крещении.

Нет, нет, барышня, мы не станем попусту растрачивать свои силы, объяснял я расшалившейся в моем воображении Сильвии Вукович, ибо нам, слава богу, уже не двадцать. Мы осмотрительны и в некотором смысле даже скупы, поскольку все лучшие жизненные соки приберегаем для работы. Теперь-то вы были бы мною довольны, как видите сами, и даже более того, но, к сожалению — ах и ах! — мне сейчас не с руки, меня уже с нетерпением ждет мой письменный стол. Ждут — чу-чуточку — и рукописи... мои рукописи.

С тем и вступил я в новую пору моей жизни: в лабиринт самообманов. Правда, я плутал в нем совсем недолго, однако время это было мучительно. От меня одного зависит, размышлял я, лежа под слабенькой звездочкой ночника и устремив глаза к расплывшимся в сумраке любимым очертаниям письменного стола, только от меня зависит, встав поутру, взвиться к самым

звездам – ну-ну, скромнее: хотя бы к ним поближе – или, оставаясь на сей сластолюбивой земле, поднять трубку и позвонить Сильвии Вукович, которая в безмерном оптимизме оставила на моем столе свой адрес и телефон.

Я так и не набрал ее номер. Каждую ночь решал, что позвоню, а утром от своего решения отказывался. Если моя рука все же тянулась к телефонной трубке, я отдергивал ее, словно ужаленную обратившимся в паука «чу-чуточку». Я должен работать, твердил я себе, ведь не может быть никакого сомнения, что все блаженство человечества зависит от завитушек моего пера, в том числе блаженство господ Йожефа Кеттауера и Иштвана Барца, правого и левого соседей моих, которые, высунувшись из окон, боясь дышать, с двух сторон следят за движением моего пера. А за ними – вся страна, приложив к уху трубочкою ладонь, да что страна! – все человечество: ведь кое-какие мои книги переведены на четырнадцать языков. Да, я жертва чувства ответственности: я не могу позвонить Сильвии Вукович...

– Сожалею, барышня, – все же мог бы сказать я ей в телефон, войдя в Робеспьерову роль Неподкупного, – я мог бы в любое время исправить допущенную в прошлый раз неловкость, но за отсутствием времени принять вас не могу. Именно сейчас я занят формулированием одиннадцатой заповеди.

Однако какое-то время все же прошло, прежде чем я разоблачил себя. Разоблачил притаившуюся в глубине души трусость, не смеющую выйти на испытание действительностью. Ибо где-то в самой сердцевине моей я все-таки знал, знал лучше, чем железы внутренней секреции, что наступила старость и я приближаюсь к концу моего пути: теперь уже и пристойно быть малодушным. Сознывая при этом, конечно, и мудро на том примирившись, что, хотя в самом конце

мы будем побеждены, все же какое-то время, пусть только лишь тлея, мы еще способны честно вершить свое дело. Хорохорящиеся старики мне отвратительны. Моя рука отлично знала, что делает, когда, потянувшись к телефону, вдруг отдергивалась: она не хотела меня предавать. Она лучше меня ощущала ужасающее различие между фантазией и действительностью.

Повторяю, период лицемерия и самообмана окончился быстро, рухнул внезапно, словно обвал. Однажды днем — помню, то была суббота — я неожиданно сник. Причины — никакой. Ни с того ни с сего я осознал, что старость огрела меня по затылку, я пал и больше не встану никогда. И нечего убаюкивать себя баснями, будто жива еще во мне мужская сила, душа — проклятая! — знала, что никогда больше мне не познать — пользуясь выражением Ветхого завета — живую женщину из плоти и крови. Навсегда остыло место в постели рядом со мной.

Повторяю, не было никакой особой причины к тому, чтобы пелена вдруг спала с моих глаз; да если бы я и мог ее отыскать, она пряталась в мозговых извилинах так глубоко, что никаким психологическим пинцетом ее бы оттуда не вытащить. Я сидел за письменным столом, в земляничном свете весеннего заката, достраивал незаконченную фразу в новом романе и тут заметил, что плачу. Слезы лились по моему лицу, солоно чувствовались на старых губах. Я удивился, облизал губы. Рыдание вырвалось уже после, пробившись изнутри сквозь паутину нескольких ошеломленных вдохов, но вырвалось из такой глубины, так судорожно, что я ухватился за стол, чтобы не свалиться со стула. Я все еще не понимал, что со мной, и, как ребенок, кулаком утирал слезы. Я, вероятно, являл собою презабавное зрелище, ведь это же надо представить: убежденный сединой, но крепкий старик, в здравом рассудке, сидит за своим столом, по-

груженный в работу, и вдруг, без всякой видимой причины, раздражается отчаянными рыданиями, с такой смертельной обидой в сердце, словно собственный сын ударил его по лицу. Живет он в достатке, пользуется всеобщим признанием: кое-какие его книги, как упоминалось, переведены на иностранные языки — и вот однажды он обнаруживает, что горько обижен на мир. Еще бы, ему предстоит умереть!

Что уж скрывать, последовали мучительные недели, месяцы. В скитаниях по этому аду я утешался, кажется, всякое самоуважение, даже роман свой забросил до поры. Вечером, если я оставался дома, приходилось иной раз запирались на ключ, чтобы Жофи, чего доброго, не застигла меня однажды в слезах. Вот уж не ожидал, думал я, оглядывая взгорья и низины прожитой жизни, что под старость буду истериком. Я боялся, разумеется, не смерти, а увядания... На другой день после того, как у меня открылись глаза, иными словами, после того как я отрезвел, то есть в воскресенье, коль скоро событие это случилось в субботу, я зашел к старому моему другу, недавно женившемуся на особе, которая была моложе его на двадцать лет. Я знал ее еще девушкой, это было прелестное создание, она походила на мою жену.

Дверь отворил Янош.

— А, наконец-то пожаловал, старый разбойник!

Я засмеялся. «Старый разбойник»! Да, попал в самую точку. Я смеялся так долго, так усердно, что Янош, кажется, уловил фальшивую нотку и покачал головой.

— Что с тобой, старый плут?

«Старый плут»! Еще лучше! Я продолжал смеяться, но теперь над собой: вид доброго друга, словно антиспазматическое средство, на некоторое время ослабил в сердце судорогу отчаяния.

— Со мной ничего, — сказал я. — Ты-то как, лабух?

Может, и я помолодею, обрядившись в жаргон молодежи! Над этим я опять посмеялся некоторое время.

— Жена?

— В магазин побежала,— сказал Янош,— сейчас вернется. Ты, конечно, ужинаешь с нами?

— Мясного я вечером не ем,— сказал я.— Кружку молочка, вот старому козлу и довольно. Янош смотрел на меня вопросительно.

— Неделю назад я видел тебя в «Фесеке», ты уплетал во-от такой ростбиф с луком...

— Давно дело-то было.

Янош остановил на мне долгий, как сама вечность, взгляд.

— Тысяча чертей тебе в глотку, всемилостивейший государь,— проговорил он.— Неделя!.. По-твоему, это давно?

— Известно ли вам, ваше превосходительство, сколько всякой всячины может случиться с человеком за неделю?

— Известно. Он становится на неделю старше.

— Вот то-то,— сказал я.— Ну что, оправдывает себя наша курочка в супружестве?

— Еще как, милостивый государь! В самый раз, по мерке. Вот и вашей милости, если б поменьше хулиганить изволили, такой бы обзавестись, было бы кому постель постелить на старости лет.

— На мою долю хватает,— ответил я лихо.— За меня, ваше превосходительство, не тревожьтесь!

Янош опять глянул на меня с подозрением.

— Ты это серьезно?

— Что?

— Тебя еще интересуют женщины? Кстати, сколько тебе лет?

— Не знаю.

— Не знаешь. Ну конечно. И ты, выходит, женщин еще интересуешь?

— То есть считают ли они меня мужчиной? Мы сидели у Яноша в кабинете друг против

друга в двух старых, обитых черной кожей креслах, стоявших возле окна. За окном, в маленьком рожадомбском¹ саду, высился огромный каштан; его толстый ствол делил надвое открывавшийся из окна вид: справа выгибалась дугою над темной рекой убегавшая на пештский берег лента ярко освещенного моста Маргит, слева, по другую сторону ствола, виднелся слабее светящийся мост Арпада. Окно было открыто, в комнату тянулся аромат свежескошенной травы, за ним на цыпочках крался запах дунайской воды. Было приятно дышать. Пускай я стар, но я люблю этот город!

— Погляди на каштан,—сказал я Яношу.— Он, должно быть, одних лет со мной, а все зеленеет.

— Кабан,—сказал Янош.

— Я любвеобилен, ты же знаешь,—продолжал я,—а у женщин на это нюх, они чувят это сразу. Скажем, вчера...

— Ах ты, племенной бык,—сказал Янош.— Ах ты, производитель.

— Не люблю хвастаться,—продолжал я,—но вот хоть и вчера... погоди, когда ж это?... ну да, вчера. Позавчера около полудня зашел я в кафе «Вёрёшмарти», спросил кофе, коньяку. Чувствовал себя усталым: поднялся в этот день непривычно рано—хотелось выправить незадавшуюся с вечера, недописанную фразу... но так и не выправил. В кафе сразу прошел в дальний, пустой зал, там сидело всего двое, ну да, двое. Муж и жена, молодые совсем. Ведь бывают пары, от которых издали несет супружеством, словно чесноком. Так и тут. Это были англичане, английский дипломат с женой, проездом. Женщину звали Сильвия.

— Откуда ты знаешь?

— Женщину звали Сильвия,—продолжал я,—миссис Сильвия Вукович. Бестактности в том,

¹ Рожадомб (букв.: холм роз)—район вилл в Буде.

что я назвал ее имя, нет, они уже проследовали дальше, к месту назначения, в Анкару. Вообще-то они были американцы, не англичане, а я, хотя по-британски несколько слов еще проквакать могу, американского диалекта не понимаю вовсе. Да ведь к чему и беседовать с женщиной, если вместо глаз у нее пылающие звезды и улыбается она так... Ее улыбка меня и сразила, дружище, эта улыбка, выпроставшись из лепестков обворожительного создания, явила собой для меня самое вечную природу: то была всезнающая улыбка женщины. Незабываемая, бесстрастная улыбка природы.

— И где же она испробовала на тебе свою улыбку?—спросил Янош.

— Жизнь без любви ничего не стоит, ваше превосходительство,— продолжал я.— Один немецкий философ, чуть ли не Кант... да-да, именно Кант сказал...— что бишь он сказал?..— что любовь есть единственная возможность для двух индивидов преодолеть сознание своей разобщенности или же, добавлю я, с триумфом преодолеть никак иначе не одолимое, невыносимое одиночество.

— Да где ж и когда добился ты такого триумфа?—спросил Янош.— В кафе «Вёрёшмарти»?

— Я не упомянул еще,—сказал я,—что у дамы с глазами-звездами кожа была светло-коричневая, но то была не разновидность загоревшей европейской кожи, а некий более древний грунтовой цвет, обретенный еще во чреве матери. Одним словом, она была дочерью индийского магараджи.

— Не ослышался ли я, милостивый государь?—спросил Янош.—Только что вы изволили говорить как будто об американке?

— Ее муж американец. И разговаривали они, само собой, по-английски,—сказал я, уже сердясь, так как чувствовал, что Янош не столько следит за рассказом, сколько изучает мое лицо. Зная меня как человека правдивого, он, на худой

конец, мог заподозрить, что я несколько приукрашиваю события, но от него я и это воспринимал с неудовольствием. Что он высматривает на моем лице, спрашивал я про себя, мой возраст? Который не в ладу с тем, что ему известно о старости? Он помнит меня чуть ли не с детства, мог бы уж знать, что, рассказывая, я привираю самое большее наполовину.

— Ну и как же в конце концов вы сговорились?—спросил Янош.—Ты почему молчишь?—спросил он немного погодя.

— Потому, надо полагать, что не могу с ходу придумать, как мы с ней сговорились,—ответствовал я ледяным тоном.

Янош примирительно положил руку мне на рукав.

— Не злись.

— Смотрю я на твою честную физиономию, дружище,—сказал я,—и, знаешь, на ней просто написано, почему твоя женушка, не пройдет и года, наставит тебе рога.

— Так как же вы сговорились?—повторил Янош.

— Когда муж,—сказал я,—отправился в гардероб за манто жены, я подошел к ее столику и положил перед ней свою визитную карточку с адресом, телефоном. На другой день она пришла без звонка: ведь по телефону мы бы все равно не поняли друг друга. Вот так-то—без всякого предупреждения, появилась—и все. Без слов, но зато со своей улыбкой.

Итак, вообразим randevu,—продолжал я,—когда любовь мужчины и женщины проходит по наидревнейшему ее варианту, при выключенном рассудке и чисто физическом единении. Вместо разговоров они только улыбаются друг другу, да и улыбки видятся смутно в сумраке комнаты, где сквозь решетку жалюзи тонкие, как лезвие, полосы света лишь кое-где добираются до кровати. И ничто не нарушает приятного общения

двух тел, которое, помимо взаимного удовольствия, не осложнено никаким посторонним интересом. Сильвия не хотела от меня денег, драгоценностей, не мечтала о том, чтобы я пристроил ее рукопись в каком-нибудь издательстве, она желала только меня самого, случайную капельку рода мужского, коей по неисповедимому капризу природы могла утолить свою жажду. Неутолимую жажду природы — я мог бы выразиться и так.

Вообрази себе далее, — продолжал я, — ту истине возвышенную тишину, которая окутывает диалог двух тел, — тишину, оттеняемую шепотом пашаретских садов за окнами зашторенной спальни. Змей из райского сада, разум человеческий, не разевал свою пасть, не слышно было ни звука — только ласки всезнающих рук, учащенное дыхание, стон радости, трепет тесного объятия. Нет, говорить было не о чем, взаимопонимание существовало без слов. И голос природы, подтверждавший: жить стоит. Друг мой, ты смотришь на мои седины? Я формулирую сейчас, быть может, последний великий урок моей жизни: мне следовало бы жениться на немой женщине.

— Так ты еще хочешь жениться? — с любопытством спросил Янош.

Вошедшую в этот миг Юли я, как уже говорил, знал с ее девических лет. Сейчас она была красивей, чем когда-либо. С голубым в горошек платочком на непослушных золотисто-рыжих кудрях, прямым, чуть приподнятым на конце носиком, полной снежно-белой шеей и молодыми формами, лишь сейчас исполнившими то, что обещали в девичестве, она была пикантнее, чем тогда... когда же это?... тому уж, верно, немало лет... когда я, слегка за нею приударив, чуть было не влюбился всерьез. Воспоминание, должно быть, постучалось и к ней: она покраснела, узнав меня.

— Ах, как славно, что вы зашли! Как давно мы вас не видели!

— Слышишь, Юли,—сказал Янош.—Этот тип надумал жениться!

Юлия рассмеялась, затем, как бы желая исправить оплошность, подбежала ко мне, обняла, расцеловала. И даже прижалась на миг горячим, крепким, весенним телом.

Нет, я не пожелал ее. Ни единой клеточкой. Я посмотрел на нее, я ее отверг. Еще некоторое время полюбовался ее движениями, женственным излучением ее молодости, столь приятным для глаз, носа, ушей, и на том самообследование окончил. Нет, я не пожелал ее. Я стар.

Поскольку я выяснил, таким образом, то, ради чего пришел, я тут же встал и откланялся. Они проводили меня до прихожей, здесь я закурил сигарету.

— Ой, как странно,—воскликнула Юли.—Как дрожат эти два пальца, в которых вы держите сигарету!

Я посмотрел на свои пальцы.

— Что ж, дрожат,—сказал я.—Я старик, Юли.

Тамашу, летом приехавшему наконец из Швейцарии, я объявил:

— Я вернул тебя домой, сын, потому что, как видно, старею и в доме нужен мужчина.

Заметим, что в виде приложения к этой фразе я изобразил на губах тонкую улыбку, дабы мальчик не принял все же слишком всерьез сообщение о моей близящейся старости. Я предположил, что понятие «самоирония» ему известно.

После истории с барышней Сильвией уже прошло, надо сказать, несколько месяцев, и я, постольку поскольку, примирился с тем, что положен на обе лопатки, то есть сбит с ног и сброшен со счетов. К горизонтальному положению, какое придется занять в могиле, следует привык-

нуть заблаговременно. Вот я и привык, то есть весь как-то задеревенел и теперь все реже просыпался по утрам с бешено колотящимся сердцем и с ощущением, что лучше было бы уж и не просыпаться.

— Я вернул тебя домой, сын, потому что, как видно, старею и в доме нужен мужчина,— объявил я, повторяю, Тамашу с тонкой улыбкой.— Память моя слабеет... Впрочем, я мог бы выразиться иначе: память моя уже не считает нужным утруждать себя, подбирая все, что ни попадет под ноги, или, точнее, отбрасывать прочь с дороги каждый ком... Ты мне нужен.

Тамаш встал, подошел—я стоял за своим письменным столом—и нежно меня обнял. Даже длительное пребывание за границей не отучило его от сыновнего ко мне пристрастия.

— Вы совсем не постарели, отец,—сказал он.

Он был красивый, стройный молодой человек, хотя на голову меня ниже. Лицом он тоже походил на меня, хотя и в удешевленном издании, его черты как будто подтверждали верность сохраненного памятью детского его облика: прескучную любовь к порядку и поистине необычайную надежность. Рядом со мной до самой моей смерти будет здоровый, добронравный, послушный сын, успокоенно отметил я, верный привычке думать прежде всего о себе.

— Признаки старения, сын, неопровержимы,—сказал я.—Так, за последние месяцы я заметил, что, стоит мне задуматься, нижняя губа отвисает и на жилет падает несколько лишних капель слюны. Правда, для жилета это безвредно, поскольку слюна не оставляет пятен, но само явление оскорбляет мой вкус.

Тамаш рассмеялся, это меня встревожило. Конечно, он не позволил себе ни единого дерзкого замечания, но про себя, вероятно, подумал: что ж, мне ходить за тобой следом с носовым платком в руке?

— Я упомянул об этом просто как об одном из проявлений наступающей старости,— сказал я.— Только для подтверждения, а не затем, что жду от тебя помощи. Точно так же, полагаю, ты не в состоянии помочь мне, ежели я забыл, как звали моего перворожденного сына, умершего за десять лет до твоего рождения. Знать его имя мне не нужно, это также всего лишь пример. Моя знаменитая, то бишь моя безукоризненная, память начинает угасать.

— Но почему вы не спросили у Жофи, отец?

— Соображаешь ты туго, сынок,— сказал я уже с нетерпением, но, по существу, довольный: это будет заурядный тяжелодум—иными словами, человек счастливый.— Ты усомнился в том, что я старею, я пожелал рассеять твои сомнения. Если, впрочем, они не просто порождение сыновней любви!

Тамаш опять поднялся, опять меня обнял. С тою неловкой нежностью, с какой, похлопывая друг друга по спине, обнимаются только мужчины. Я нимало не сомневался, что он и за границей сберег унаследованные от матери благие черты, ее человеколюбие и вместе с ним почтение к авторитетам и что под моим руководством он благополучно минует все новомодные опасности, кои якобы угрожают современной молодежи. Он не отрастил бороду в Швейцарии, волосы стриг коротко. Я оглядел его: сознание отцовской ответственности даже растрогало меня. Конечно, ему бы не повредило быть немного позатейливее, подумал я. Но тут же добавил: впрочем, одного сумасброда в семье достаточно. Хотя, сказать по правде, не себя я считал сумасбродом среди живущих.

— Чем ты намерен заняться в Пеште?

С этого моего вопроса началась для меня новая глава моих старческих метаний. Я только-только пришел в себя от первого громового удара—ха-ха-ха,—от того щелчка по носу, коим

закончилась моя мужская пора, и вот уж разразилась надо мной новая гроза, еще забавнее первой.

Тамаш учился на инженера-текстильщика. Рассказав, что в Женеве окончил уже два курса, он спросил, может ли жить у меня.

— Да где ж еще тебе жить? — спросил я. — Квартира достаточно просторна, двум холостякам места хватит.

— Но дело в том... — заикнулся Тамаш.

Очевидно, я не обратил внимания на его «но дело в том».

— Я вернул тебя домой потому, — сказал я, — что мне нужен здесь какой-то отзвук. Надеюсь, ты отнесешься с должным почтением к значительности этой роли?

— Я буду стараться, отец.

Кажется, его не покорило чванство, достаточно отчетливо прозвучавшее в моем вопросе. Право, блаженная добрая душа, решил я про себя.

— Мы должны понять друг друга, сын, — сказал я. — Я нуждаюсь не просто в понимании с твоей стороны, хотя оно и не вредно для такого старца, особенно ежели пресловутое понимание лишь имитируется — иными словами, может быть принято только как проявление любви и такта. И не для того вернул я тебя домой, чтобы ты ходил за мной по пятам с носовым платком в руке и утирал нос и рот своему дряхлому папеньке. И даже не ради Жофи, которая, по моему, ни за что бы не умерла, не покормив тебя еще разок грудью памяти.

— Понимаю, отец.

— Допустим, — сказал я. — Надеюсь, поймешь и все последующее. Мир вокруг меня смолкает, сын. Потому ли, что становлюсь туг на ухо и не улавливаю его речей? Или я слишком внимательно, приблизив ухо к запястью, прислушиваюсь к своему пульсу, и его биение столь гром-

ко, что я становлюсь глух к прочим звукам? Тревожный симптом, сын, сигнал близящегося маразма. Писатель лишь до тех пор писатель, пока он, вслушиваясь в себя, за акустическими проявлениями собственного организма улавливает также и звучание мира. Если же мир становится ему невнятен, весь концерт уже ни к черту. Стареющий человек буквально начинен постоянно умножающимися дефектами, поправить которые извне ему удастся все реже: от этого он все менее уверен в себе и все более одинок. Новый опыт его уже не интересует, с него достаточно того, что накопилось за долгую жизнь, да он и не верит, будто есть что-то новое под солнцем — как, впрочем, и над оным. Поэтому он предпочитает затвориться в себе: он глохнет, слепнет. И чтобы все же как-то развлечься, вскарабкивается в конце концов на огненную колесницу Ильи-пророка, приманенный ложной, как известно, идеей бессмертия. Все выше, все дальше от остывающей и немеющей Земли! Понимаешь?

— Понимаю, отец.

— Возможно, — сказал я. — В таком случае ты поймешь, вероятно, и роль, для которой призван. Твоя молодость станет посредником между моей глухотой и миром.

— С огромной радостью, отец. Насколько хватит моих способностей. Но мне кажется, отец, у вас все еще отличный слух.

— Старый человек лишь наполовину мужчина, — продолжал я после короткой паузы, в течение которой вспоминал, выпил ли утром слабительный настой. — Вторую половину надлежит восполнить тебе, сын. Из чего ты поймешь, что я считаю тебя мужчиной и намерен прислушиваться — по крайней мере мне так кажется — к твоим советам и замечаниям. Прежде всего следи за всем тем шлаком, который накапливается к старости в каждом человеке, после того как

отгорели его страсти. Страсти, заглушаемые в течение нашей жизни, не тонут бесследно, самоконтроль, навязанный нам так называемой цивилизацией, также камнем лежит в желудке до последней нашей минуты. Например, обращаю твоё внимание — а тебе предстоит ежевечерне напоминать о том мне, — что мною сделано поразительное открытие: я завистлив. Чему именно я завидую, не знаю. Напоминай мне также о том...

Но вдруг я прискучил себе.

— Продолжим в другой раз, сын, — сказал я. — Теперь ты ступай к себе, я устал.

— Ещё только одну минуту, отец, — сказал Тамаш. — Вы не ответили на мой вопрос, могу ли я жить здесь.

— Да почему бы тебе не жить здесь?

— Я не один, отец.

— С какой стороны ни погляжу, вижу перед собой только одного человека, — сказал я бессмысленно: очевидно, голова моя уже ушла в работу.

— Я женился, отец.

— Ну нет! — сказал я тотчас. — Ну нет!

Возможно, впрочем, не сказал, а завопил. Стоя за письменным моим столом, я чувствовал, как со мной происходит невероятная метаморфоза и, подобно древнему сфинксу, я превращаюсь в некую помесь: к моей профетической голове снизу пристраивалось кровожадное тело обывателя.

— Ну нет! — вопил я.

Тамаш смотрел на меня. Пожалуй, он решил, что вслед за обсуждавшейся выше символической глухотой последовала глухота действительная, так как подошел ко мне ближе, наклонился вперед и сказал громко:

— Вы меня неправильно поняли, отец. Я сообщил вам не о намерении жениться, а самый факт: я женился.

— Исключено! — заорал я.

- Месяц назад в Женеве.
- Исключено! — продолжал я орать.
- Что мы поженились в Женеве?
- Исключено!
- Я совершеннолетний, отец.
- Бога нет! Правда, его нет не только поэто-
му.
- Я женился на венгерке, отец.
- Я вызвал тебя, чтобы в доме был мужчина!
Тамаш сделал еще шаг ко мне.
- Так вот же я.
- Тебя здесь нет! — вопил я.
- Оттого, что я женат...
- Никто тебя не просил настолько быть муж-
чиной, — бушевал я. — Знать ни о чем не хочу!
- О чем вы не хотите знать, отец?
- И Жофи тоже! — вопил я.
- О чем вы?
- Я вернул тебя, чтобы ты стал моим опеку-
ном, а не затем, чтобы заполнил весь дом этими
ломаками женщинами.
- Я в вашем распоряжении, отец, но...
- Не желаю больше видеть вокруг себя жен-
щин, — не унимался я.
- Как прикажете, отец.
- Отцеубийца! — вопил я. — Гонерилья в образе
мужчины!
- Как? — спросил Тамаш.
- Он не знал Шекспира. Его необразованность
не возмутила меня, а, напротив, успокоила.
- Знать не желаю, — продолжал я.
- Тамаш посмотрел на меня, потом поклонился
и молча направился к двери.
- Гистологическая несовместимость! — выкрик-
нул я ему вслед, но уже сбавив тон. Он обернул-
ся.
- Не понимаю, — сказал он.
- Стихая — быть может, под гнетом воспомина-
ний, — я проговорил:
- Между мною и женщинами возникла гисто-

логическая несовместимость... недавно возникла,— добавил я точности ради.

Тамаш опустил глаза.

— Я с глубокой горечью принимаю к сведению ваше решение, отец,— сказал он четко, как и подбало инженеру-текстильщику,— и покину дом. Кстати, это будет не первый случай в нашей семье,— добавил он улыбаясь.— Из ваших же рассказов, отец, я знаю, что мама вышла за вас замуж, невзирая на протесты и даже прямой запрет родителей.

— Где эта женщина?— спросил я.

Через неделю после этого разговора она прибыла в Будапешт. Ее отец еще до войны уехал из Дебрецена в Швейцарию, женился там на текстильной фабрике,— ага, текстильной!— но поварихой в его доме была венгерка и говорили там по-венгерски. Почему уж так— запомнил. Возможно, и тесть был венгром? За границей выходцы из одной нации, если не стыдятся своей родины, лепятся обычно друг к другу, как слова хорошо написанной фразы, вероятно, они полагают, что только вместе имеют какой-то смысл. Катрин— в дальнейшем мы будем именовать ее Кати— говорила по-венгерски без ошибок и даже красиво, в ее интонациях еще угадывались далекие дебреценские корни.

— Целую руки, папá,— сказала она еще от двери, когда Тамаш, встретивший жену на аэродроме, ввел ее ко мне в кабинет, чтобы представить.

Я сидел за столом, обернулся. Не видно было, что она утомлена после долгого пути,— или успела выкупаться, переодеться? К их комнате на втором этаже примыкала отдельная ванная. Кати была в белых брюках и вишневого цвета пуловере.

— Папá?— повторил я за ней.— Насколько мне известно, барышня, я вам не отец.

Кати, направившаяся было ко мне, вдруг замерла, остановилась в трех-четыре шагах от

моего стола, И вспыхнула – так, что покраснела даже шея. Тамаш обнял ее за плечи, мягко подтолкнул ко мне. За ними в дверях показался толстый красный нос Жофи.

– Позвольте напомнить вам, отец, что Кати уже не девица, – сказал Тамаш почтительно, хотя и со смехом. – Уже месяц, как мы поженились.

– Это ничего не значит, – сказал я.

Она была красивая женщина, с чутким, насколько я мог судить, пропорционально сложенным телом, и это меня разозлило особенно. Хотя бы очки носила, что ли... однако глаза ее ясно блестели. Вся ее гибкая стать казалась легкой, словно брошенное невзначай замечание, весомость которого ощущаешь лишь позднее, когда оно проникает в самую глубь сознания.

– Как же ей обращаться к вам, отец? – спросил Тамаш.

– Пока никак, – сказал я. – Я сам обращусь к ней, если возникнет в том нужда. Сколько вам лет, барышня?

– Семнадцать исполнилось, *mon cher beau-rège*¹, – сказала Кати. Она опустила глаза, но я видел по стройной девичьей шее, что диафрагма ее колышется. Разумеется, меня сердило и это.

– Ребенок уже есть, барышня? – спросил я.

– Нет, отец, – сказал Тамаш.

– И в проекте нет?

– Нет, – решительно ответила Кати.

Жофи, до сих пор державшаяся в дверях, теперь вошла в комнату.

– Да уж только этого не хватало, – проворчала она негромко, но так, чтобы все мы услышали. – Ребенок!.. Да я тут же на пенсию. Работать на четверых, с больной-то поясницей!

– Не думайте, барышня, что мы тут все с зайчиками, мы просто с норовом, как вообще старики, – сказал я, покосившись на Жофи и продол-

¹ Милый свекор (франц.).

жая изучать Кати, которая растерянна на меня смотрела.— Вам следует заметить себе это, если вы намерены поселиться в нашем семейном кругу.

— Qu'est-ce que c'est que ¹ с зайчиками?—спросила Кати у Тамаша.

— Те, у кого со страху пятки чешутся,—ответил я.—Ваши почтенные родители зудом не страдают?

— Редко, mon cher beau-père,—сказала Кати, она уже вновь смеялась!

Уныние и смех так быстро сменялись в девичьей ее душе, как ее венгерская речь—французским ходом мысли. Этот легкий смех я полюбил прежде всего, когда—значительно позже—мог уже простить ей, что она женщина, и близко—скажем так: ближе—подпустил к своему сердцу. Но пока в Фермопилах моей старости я отражал все ее атаки.

— Одна из наших причуд, кою разделяет со мной и старая моя приятельница Жофи,—сказал я Кати, одним глазом косясь на Тамаша,—состоит в том, что мы не любим красивых женщин и не считаем их приемлемыми ни в качестве жены, ни в качестве невестки. Вот вам пример: перед особой, не столь щедро украшенной всяческими достоинствами, я не стыдился бы, если у меня вдруг капнет из носу,—пока, допустим, еще не капает, но ведь это будет, и в весьма обозримое время. Вы тактично отвернетесь, барышня, меня же, поскольку речь идет о красивой женщине, это раздражает уже сейчас, при одной только мысли. Далее: я зябну, поэтому весной, выходя в сад, я набрасываю на плечи ветхий черный берлинский платок приятельницы моей Жофи, что будет раздражать вас и ответно, рикошетом, меня. Продолжим: я люблю солнечную погоду, в пасмурные же дни ко мне просто

¹ Что значит (франц.).

не подступиться. Если бы вы вашим цыплячьим умишком были способны уважать все это — а о самом тяжком я еще и не обмолвился, — я счел бы вас разумной не по годам, а это меня оттолкнуло бы от вас еще больше.

По лицу Тамаша я видел, что он чертовски наслаждается этой сценой; тут уж и я подивился, поскольку не предполагал в нем такого лукавства.

— Mais il est charmant ¹, — воскликнула девчушка и, отстранив Тамаша, который сделал попытку ее удержать, бросилась ко мне. Я опоздал, я не успел подняться с кресла. Она обвила руками мою шею, расцеловала на французский манер, в правую, потом в левую щеку, затем склонилась к моей руке и тоже поцеловала. — Mon cher beau-père, vous êtes charmant! ²

Ее легкие поцелуи, слетавшие на меня с трепетным теплом бабочки, напомнив былую сладость любви, еще больше меня расстроили. Я вскочил с кресла, расвирепевший, словно меня оскорбили в моем мужском достоинстве. Ныне, когда я пишу эти строки, уже очевидно, что, играя сурового старика, я вел себя в действительности как смешной клоун, и лишь благодаря ее исключительно чуткому женскому уму и доброте моя невестка меня разгадала. Могу сообщить: даже роли анахорета надлежит учиться, если человек вообще для нее пригоден.

— Барышня, — сказал я, — вы ошибаетесь, я отнюдь не charmant. Что же касается моего физического состояния, то вы уже слышали, вероятно, о том — а если не слышали, то будьте любезны принять это к сведению, — что в старых организмах структура белка коренным образом видоизменяется, как это подтверждает и биохимия.

¹ Но он же прелестный (франц.).

² Милый свекор, вы просто прелесть! (франц.).

мический анализ. В ходе обменного процесса в перестраивающемся белке возникают химически все более стабильные узлы, которые в конце концов делают дальнейший обмен невозможным. Что сие означает — а означает сие в числе прочего и атеросклероз головного мозга, рано или поздно приводящий к кретинизму, — вам расскажет об этом поточнее mon fils¹ Тамаш. Что же до так называемой души моей, то я гляжу на мир, и вид этой грязи сохраняет меня в чистоте. Вы изволили понять меня?

Не знаю, что она поняла из сказанного, но меня она поняла. Конечно, такой прием поначалу смутил ее: она смотрела на меня большими испуганными глазами, но не побледнела. Правда, ничего не ответила, но и не выбежала из комнаты. И хотя девически худенькая шея покраснела до самых ключиц, глаза не налились слезами. Она явно содержала душу свою в швейцарском порядке, и была эта душа, пожалуй, столь же цивилизованным садовым растением — впрочем, тут никогда нельзя знать наверное! — как и душа Тамаша, разве что немножко оригинальнее, ровно настолько, насколько была моложе. Упомяну как признак ее инстинктивного такта: в моем присутствии она никогда — даже позднее — не поцеловалась с Тамашем, не позволила ему взять себя хотя бы за руку.

Четверть часа спустя после нашей беседы, выйдя на лестничную площадку, я замер, пораженный: сверху, из их комнаты на втором этаже, ко мне неслась легкая французская песенка на приятных альтовых волнах голоса Катрин. Возблагодарим господ, пробормотал я про себя, у нее не сопрано — хоть не пищит по крайней мере.

Наверху отворилась дверь, по лестнице спу-

¹ Мой сын (франц.).

скался Тамаш. Песенка оборвалась в ту минуту, как дверь распахнулась.

...on y danse,
on y danse ¹,—

послышалось напоследок, и тотчас, в той же тональности, словно продолжая песню, раздался идущий от сердца, а может, откуда-то еще глубже, именуемый сладостным смех.

Смеется... надо мной?

— Дорогой отец, найдется у вас еще пять минут?—спросил Тамаш.

Внутренняя лестница вела вверх в комнату Тамаша, вниз—в полуэтаж. Здесь жила Жофи, рядом с ней была ванная комната и еще комната для гостей, затем прачечная, чулан и—согласно предписанию—отдельное помещение для газового счетчика. Я шел как раз в прачечную, где два раза в день подвешивал себя на пять минут, если, впрочем, не забывал об этом.

— Сейчас мне недосуг,—буркнул я угрюмо.— Впрочем, ступай со мной,—бросил я через плечо, увидев его разочарованное, вытянувшееся лицо.

— Зачем вы подвешиваетесь, отец?—спросил Тамаш.

— Осуществляю приговор, вынесенный мне обществом, сын,—сказал я.—Вернее, осуществил бы, если бы хватило духу. Ну вот и примериваюсь без пользы, два раза на день. Вон там, направо, первая дверь—это и есть моя плаха.

Аппарат для подвешивания, из дерева, стали, кожаных ремней, был укреплен в прачечной на толстом крюке двадцати сантиметров в длину. Тамаш с интересом его рассматривал.

— Он также пригоден для вытягивания обызвествленных шейных позвонков,—сказал я,—

¹ ...там танцуют,
танцуют (франц.).

дабы я мог держать спину прямее, участвуя в общественной жизни.

Я стал застегивать ремни. Голову — между двух подбитых белой замшей ремней, подбородок — на передний ремень. Чтобы застегнуть третий, связующий ремешок, приходилось петлю вокруг шеи слегка поворачивать влево, но и так мне иной раз по нескольку минут не удавалось нащупать нужную дырку. Помощь Тамаша я отверг.

— Лучше помогай мне не забывать то и дело об этом никчемном инквизиторском упражнении. Вообще-то напоминать мне об этом следовало бы Жофи, но она, конечно, тоже стала забывчива.

Присутствие сына, по-видимому, нервировало меня, я никак не мог застегнуть ремешок.

— Оставь, не нужно, — сказал я. — Но заодно уж попрошу, напоминай мне, чтобы за полчаса до ужина я пил желудочный чай. В сущности, и это дело Жофи, но она забывает. Приготовить приготовит, но не подаст. А я, если не пью его каждый день, гм... все удерживаю в себе. Возможно, из скупости.

— Из скупости?

— Что мое, пусть остается при мне, — объяснил я.

— Понимаю, отец.

— Сообразил теперь, зачем было тебе возвращаться домой из Швейцарии?

Похоже, у Тамаша и юмора хватало. Он смеялся. Я не был рад этому.

— Когда я подтяну веревку, — сказал я, — выкладывай свою просьбу. Самое подходящее время подавать прошения: поскольку говорить я не могу, то не могу, следовательно, и отклонить просьбу... Но постой-ка, еще словечко о Жофи.

В углу кухни-прачечной мокло в пластмассовом тазу грязное белье. На гладильной доске лежала моя недоглаженная белая рубашка.

— Жофи,—сказал я,—не склонна признать та belle-fille¹ хозяйкой, так что пусть Кати не вздумает заказывать ей обед, ужин или спрашивать отчета в расходах по хозяйству. Последнее вообще ни к чему. Я тоже никогда этого не делаю. Жофи верна, как старый комондор², в ее руках не застрянет и филлера... Ну, выкладывай.

Я подтянул веревку, мой подбородок задрался вверх. Отпустил веревку, подбородок—вниз.

— Посмотри на часы, пройдет пять минут—скажи.

— У меня не просьба, а скорее вопрос,—сказал Тамаш, облокотясь на гладильную доску.—Вас не беспокоит, отец, присутствие в доме моей жены?

— Кррр,—сказал я.

— Видите ли, если да, то я попросил бы у вас разрешения переехать. Правда, тогда я не смогу выполнять те задачи, ради которых вы меня вызвали домой, но, наверное, это меньше нарушило бы привычный вам распорядок, чем наше присутствие.

— Кррр,—сказал я.

После вышеизложенного разговора я посетил—чтобы сориентироваться—давнего моего друга, который как раз жил с невесткой и сыном под одним кровом. Когда-то... когда же?... очень давно!.. он попал в Пешт из альфёльдского селеньица Хайдубагоша, сын его родился уже здесь, женился, теперь подрастают внуки. Этот старик был достоин всяческой жалости, как и я, его супруга умерла примерно тогда же, когда и моя, и тоже родами. С тех пор—поскольку связь через жен распалась—мы видимся редко.

Пока Тамаш пребывал в Швейцарии, я в своем одиночестве не раз задумывался о том, не легче ли в конечном счете выносить одиноче-

¹ Мою сноху (*франц.*).

² Венгерская порода сторожевых собак.

ство в окружении и под защитой семьи, как у Йошки, чем мое агрессивное, со скрипом зубовым отшельничество. И в такие минуты против воли оказывался лицом к лицу с одной из комических – ибо неразрешимых – проблем моей жизни; проблема эта, словно подводное чудище, нет-нет да и подымалась вдруг на поверхность дней моих и плевала мне в глаза.

Я осудил себя на одиночество, чтобы иметь возможность работать. Но есть ли в моей работе какая-то польза и в чем она? Помимо того, что иногда – редко – удавшаяся, хорошо закрученная фраза порадует мою душеньку?

После пятидесяти с лишком лет работы вопрос, по-видимому, смешной. Но и горький до слез!

Иногда она так представляется мне, моя работа: будто я вознамерился сложить египетскую пирамиду, но вершиной к земле. А позади меня, в прошлом, и вокруг меня, в водовороте обезумевшей толпы, тысячи и тысячи одинаково несообразных сооружений, несметные множества вершинами вниз наставленных пирамид. Словно в пустыне, где мираж перевернул вверх дном смысл человеческого труда...

Это надо себе представить! А после того – наказание, водворение творцов всего этого в ад и их вопли в кругах его.

Я не собираюсь рассуждать о смысле искусства, носить в лес дрова. Присоединяться к шумному суесловию, из-за которого уже едва различимы голоса самого леса. Мы – увы, нередко и я тоже – дошли до того, что за деревьями не видим леса, иначе говоря, за рассуждениями – смысла. Например, чего ради оказались мы на сей земле: может, затем, чтобы хорошо себя чувствовать? И т.д. и т.д. – говорит в подобных случаях Стендаль, когда собственные мысли ему наскучат. Но все эти рассуждения не заслуживали бы ничего, кроме гомерического хохота, если

бы не сновало вокруг нас столько утонченных душ, желающих во что бы то ни стало утешить глупую толпу. Утешить в том, что человек выполняет на земле работу паразитов: уничтожает, дабы в конце концов уничтожиться самому.

И с этим я вновь вернулся к собственной паразитической работе — стоило ли ради нее обречь себя на одиночество? На эту мышиную нору, из которой я разогнал, попискивая, всех моих ближних? А сейчас готов выставить из нее и сына за то, что он, повинувшись долгу — слава ему! — желает приумножить нашу смешную породу?!

Ну что ж, присмотримся ближе к счастливому «семейному кругу» а-ля Янош Арань¹, сказал я себе, где заботливое окружение защищает оставшегося одиноким старца от жестоких ударов старости. И не только простыни его содержит в чистоте, но и душеньку его оберегает от издевательских укусов внешнего мира и даже от непременно за этим следующего самоубийства. И чутко, ласково провожает его до самой могилы.

Неблагоприятные результаты моего визита и проведенного обследования не оказали, увы, никакого влияния на мою дальнейшую судьбу, из чего для меня стало еще очевиднее, что опыт, полученный в старости, конвертировать уже невозможно. Тот, кому на старости лет дадут по рукам, отвечает только смехом.

Или сказать: как было — было хорошо? Да ведь говори не говори, все равно неизвестно, как было бы, сложились все по-другому...

С Йошкой мы встретились у его подъезда, он как раз возвращался домой с голубым молочным бидончиком в руке.

¹ Арань, Янош (1817–1882) — крупнейший венгерский поэт. «Семейный круг» — широко известное его стихотворение, воссоздающее атмосферу сельской патриархальности.

- А это что?—спросил я, указывая на бидон.
- Как что? Молоко.
- Правильно,—сказал я.—Такому старику только молоком и ужинать, не ростбифом с луком.
- А ты все ростбифы?
- Я-то? Исключительно. Так я ведь тебе в младшие братцы гожусь.

Йошка кисло ухмыльнулся.

- Точно так,—сказал он.—Если не ошибаюсь, ты моложе меня на полгода.

- Я своих лет не считаю, тебе это, кажется, известно,—сказал я.—Только чужие. Над чужим возрастом хоть посмеяться можно. Да-с, хотя ты старше меня всего на полгода, но в твоём возрасте, дяденька, это колоссальная разница.

Он порядком постарел с тех пор, как был у меня в последний раз. По его лицу я видел: он думает про меня то же самое, но я отнес это за счет его пресбиопии. Впрочем, выглядел он неплохо: сухощавый, высокий, он казался еще длиннее—на высоту шапки своей из бараньей кожи, которую он не снимал с головы ни зимой, ни летом, а иногда и в комнате с ней не расставался. В этой шапке он и меня был выше.

- Лысеешь, Йошка?—спросил я, ткнув пальцем на его шапку. Он тем же жестом указал на мою голову—я был без шляпы.

- А ты все в том же парике шастаешь?

- До могилы,—сказал я.

Мы стояли у лифта, дворник с ключом все не выходил.

- Поднимемся пешком?

- Ну нет,—сказал я,—это вредно для твоих легких.

- Расширение легких—это ведь у тебя,—сказал Йошка.—Ты прав, с ними нужно поаккуратней.

Мы прошли прямо в его комнату, самую маленькую комнатку в квартире, бывшее помещение для прислуги, с окном на внутренний двор. И молоко он пронес прямо к себе, не на

кухню. Из прежней своей большой комнаты, окнами на улицу, он перебрался: подросли внуки, начали учиться, а науки ведь места требуют, объяснил он, но глаза отвел в сторону.

— Понимаю,— сказал я.— Живешь своим коштом?

Он вылил молоко в красную кастрюльку, поставил ее на старомодную спиртовку, стоявшую на столе, чиркнул спичкой. Достал из шкафа две кружки.

— Выпьешь со мной кружечку?

— Вечером только ростбиф. С луком,— сказал я. Он продолжал рыться в шкафу.

— Вот так штука, хлеба-то у меня нет больше,— пробормотал он.— Забыл купить.

— Сбегать в магазин, старшой?

— Он уже закрылся, малыш,— сказал он.— Проживу и без хлеба.

— Почему не попросишь у невестки взаймы?

Он махнул рукой.

— Проживу и без хлеба.

— Ясное дело, проживешь,— сказал я.— Но почему твоя невестка не приносит тебе молоко и хлеб, для себя-то она все равно по утрам в магазин ходит.

Он обратил ко мне густые белые усы. Если у него под шапкой и волосы такие же густые, подумал я, тогда они погуще моих.

— Ей, бедняжке, с детьми хлопот хватает.

— Бедняжка,— сказал я.— Бедная твоя невестка. Невестка— кара небесная, верно?

Он опять глянул на меня своими усами, казавшимися разумнее глаз.

— Все у меня в порядке,— сказал он.— Оно, конечно, что правда, то правда, пока жива была моя бедная жена... Нет, я не жалею. Но зачем и коптить небо такому старику вроде меня?

— У тебя волосы уже выпадают?— спросил я.

— Нет, у меня все в порядке,— сказал Йошка.— Ну конечно, одно мне не нравится: когда к ним

гости приходят, меня на ключ запирают снаружи. А так—все у меня ничего.

— Волосы-то выпадают уже?—спросил я еще раз.

— Когда голову мою,—сказал Йошка.—Тогда в тазу волос полно, так и плавают белыми клочьями, уж лучше не мыть.

— У меня и без мытья сыплются,—сказал я,—едва успеваю снимать с пиджака. Знаешь ли, сколько весит такой волос?

— Покуда не взвешивал,—сказал Йошка.

— Просто поверить трудно. Бывает, работая за столом, сниму волос с воротника и, не вставая, бросаю в корзину для бумаг, а она от меня шагах в трех стоит. Такой волос не плывет по воздуху, а падает.

Тем временем молоко вскипело.

— Есть у меня овечьего сыру немножко, домашнего,—сказал Йошка,—сестра прислала из Богоша. Хочешь?

Возвращаясь домой, я размышлял о том, найдется ли добрая душа, которая бы вдосталь снабжала меня овечьим сыром, когда и меня, после смерти Жофи, переселят в комнату для прислуги.

Можно с определенностью сказать, что именно старость, вышелушивая постепенно из жизни нашей добродетели и прегрешения, показывает неподдельно, то есть наиболее достоверно, ее, жизни этой, ценность. Да и для выявления подлинной ее ценности старик подходит наилучшим образом. Глаза у него не разбегаются, ум натренирован, разочарования позади. Мы уже ничего не ждем от мира и от самих себя тоже ожидаем немного. Мир и себя мы благословляем—это удобнее, чем проклинать.

Что любовь сменяется рано или поздно привычкой—дело также известное. Но когда исче-

зают и последние крохи привычного, это все же ошеломляет, как человек ни стар. Обращение апостола Павла не наблюдал бы я более потрясенно, чем измену Жофи,—я даже забыл посмеяться. Понятие верности мы давно уж положили на долженствующее место, то есть в ящик для игрушек, но чтобы и нервные пути можно было переставлять, словно железнодорожные стрелки... ну-ну!

Несколько лет назад, когда в страхе перед старостью, то есть перед окостенением, я восстал против моих закоренелых привычек и с посрамляющей профессиональных революционеров решимостью занялся перемещением на полке в ванной лосьона, названного именем мосье Роша, на место австрийского лосьона «Элида» и, наоборот, помазка на место крема для бритья, а крема для бритья на место помазка, когда разбил на куски наследие матери, кружку, из которой я пил утренний кофе,—в этот мой поздне-подростковый период я кое в чем был еще неискушен. Так, я не знал, что, сбросив старые свои привычки, человек чувствует себя опустошенным и волей-неволей обрастает новыми привычками. Нервы, в точности так же, как история, вакуума не терпят. На полке в ванной комнате ведущим моим принципом — или привычкой — стал беспорядок. Почему же меня так ошеломило, когда и Жофи провозгласила вдруг: «*Le roi est mort, vive le roi!*»¹

— Не пойму я вас, молодой барин,—сказала мне старая ведьма.

— Не пойму... не пойму! — проворчал я. — Да вы же совсем недавно объявили мне... когда это было?.. ну да, в конце лета... что не намерены обслуживать чужеземных барынек, больше того, в нарушение всех ваших правил вы еще и грози-

¹ Король умер, да здравствует король! (франц.).

лись мне, что покинете мой дом и бренные мои останки. Хотя этому я не поверил...

— Что с вами опять такое?—спросила Жофи, присаживаясь в стоявшее возле моего стола кресло—правда, из почтения лишь на самый краешек.

— Усаживайтесь как следует,—сказал я.—Итак, еще летом вы мне заявили...

— Так то летом было,—сказала Жофи.—Теперь вон осень стоит.

— Вы так быстро сменяете свои принципы, моя старушка?—осведомился я.—По сезонам?

— Когда есть в том надобность, молодой барин,—сказала Жофи.—Зачем звали-то?

— Осень, говорите,—продолжал я, подходя к окну и глядя на ярко расцвеченные зонты пашаретских деревьев, которыми они загораживались от близящегося зимнего ненастья.—Значит, осень, но еще не зима. Тогда зачем это вы так раскалили котел, словно на улице уже снег похрустывает под ногами?

Жофи молча на меня смотрела.

— Чем же опять девочка вам не угодила?—спросила она немного спустя.—Ведь знаете, зябнет она.

— А что вы сказали недавно, еще летом?—спросил я.—Невестка-де чужая кровь, она и сына от отца отваживает.

Жофи засмеялась:

— Чего только человек не наскажет, молодой барин.

— Когда умерла моя бедная жена,—продолжал я, по-прежнему стоя у окна и наблюдая, как гнутся под октябрьским ветром деревья вдоль Пашарети,—вы заявили, что останетесь у меня только в том случае, если я не приведу новую женщину в дом.

Жофи опять засмеялась:

— Так эту не вы привели. Ну чего вы по окну-то барабаните, чего нервничаете?

— Если бы я считал достойными ответа каверзные вопросы такого рода,—сказал я,—то ответил бы: я нервничаю, ибо меня предали. Я полагал, бестолковая вы женщина, что вы, пусть не по чему другому, просто по привычке, будете во всем за меня то недолгое уж время, которое я намерен еще провести на этой земле. Но и у вас, видно, хотя вон вы какая старая перечница, все еще молодые на уме.

Вот ведь какова была моя неслыханная, до старости сбереженная невинность: я был оскорблен, как младенец, у которого отняли материнский сосок изо рта. Читал я о некоем Кемоне, древнем старце, которого кормила грудью дочь его,—уж не того ли и мне было нужно? Никогда я не убаюкивал себя мыслями, будто меня любили—те, кто любил,—ради меня самого, но положенного вознаграждения, в том числе и от издательств, добивался всегда, чтобы не слишком уж односторонними выходили мои расчеты с миром.

— Так я пойду, молодой барин?—спросила Жофи.—Или я еще что-нибудь говорила такое, чем вы хотите глаза мне колоть?

— Вот гляжу я на вас, Жофи,—продолжал я,—и вижу: очень вы похожи на Фридриха Великого. Про него рассказывают, будто встал он однажды на поле битвы, преградил путь солдатам своим, от врага бегущим, да как крикнет им: или вы вечно, псы, жить хотите?!

— Никакого такого Фридриха я не знаю,—сказала Жофи.—Вот на Чевской дороге, верно, проживал один жестянщик по фамилии Великий, дак того Белой звали... и потом, он невесть когда уж в Вену эмигрировал. А из слов ваших, молодой барин, я так понимаю, что господин этот Фридрих сам-то своей поганой жизнью, прошу прощения, куда как дорожил! Видать, непременно хотел пережить солдат своих.

Вот это, верно, и есть демократия, подумал я,

когда для старой прислуги жизнь ее важна так же, как и жизнь императора?

— Конечно, хотел,— сказал я.— Вот как я, например, хочу вас пережить, верно, моя старушка?

Жофи посмотрела на меня и опять засмеялась.

— Быть посему,— сказала она.

— А с чего это у вас такое распрекрасное настроение, старая ведьма?— спросил я.

— Жил в нашей деревне,— сказала мне Жофи,— хозяин один, из швабов, так вот, на кухне у него, над плитой, висел красиво расшитый платок с поговоркой швабскою, мне как-то растолковали ее. А значила она вот что, молодой барин: откуда пришел, не ведаю, куда иду, не знаю, а все ж таки весел я... И будет уж вам по окну тому барабанить, ведь разобьете.

В дверях она еще раз обернулась.

— Так чем не угодила вам девочка?

— Как же, девочка!— передразнил я.— Если моя безукоризненная память по-прежнему мне не изменяет, она полгода как замужем. Ступайте по своим делам, Жофи.

— Иду, молодой барин,— сказала старуха, даже не шелохнувшись, ей явно хотелось поговорить:— Она совсем еще девчушка, молодой барин, надо бы с ней помягче. Уж не говоря об том, как она вас-то любит, молодой барин.

— Меня?— спросил я, удивленный.

— Ну да!— сказала Жофи.— Уж так почитает, что даже виду подать не смеет. Вот наемдни вдруг спрашивает: «А правда, мама Жофи, мой бо-пэр—самый великий писатель в Венгрии?»

— Болтовня,— сказал я раздраженно.— А вас она, значит, мамой Жофи называет?

Жофи все стояла в дверях.

— Говорю же, она девчушка еще. Такие маленькие да слабенькие птенчики в ласке нуждаются, молодой барин.

— Ну-с, а с чего вы взяли, будто она мне симпатизирует?

— Вы меня только не выдавайте! — сказала Жофи. — Она, молодой барин, заставила меня разыскать фотографию вашу, вставила ее в красивую золотую рамочку и повесила над своей кроватью.

— Над кроватью? Ну ладно вам, подите к дьяволу, старая сводня, — сказал я.

Оглядываясь назад, я вижу, что за последнее время Жофи сильно сдала: не только ноги, но и дух ее притомился. Она стала от этого много речивей — как, впрочем, и я, что по вышеизложенному заметить нетрудно. В старости человек словесами возмещает недостающие мысли — вы только понаблюдайте, с какой поразительной быстротой вскакивают слова на их место! Не раз уж и у меня — обыкновенно в живой речи — бывало так, словно я читаю готовый текст, заранее отпечатанный в мозгу, особенно когда намерен говорить правду; перо мое обходится пока без трафаретов, и это, по-видимому, должно успокаивать. Но до каких пор? — задаю я себе иногда вопрос, и, сказать по совести, не без тревоги. А потом, замечу ли я, если обызвествление черепной коробки перейдет на кончик моего пера? Когда следует остановить его бег, кто мне скажет об этом? И поверю ли я? Рассчитывать на сострадание не приходится, рьяная молодежь следует по пятам. Что ж, смена поколений! Но для того, кого сменяют, спрашиваю я себя, это тоже веселое развлечение?

Разумеется, я-то пока еще крепок, даже если память моя нуждается порою в подпорках, полагал я в ту пору.

На другой день, когда Тамаша и его жены не было дома, я поднялся в их квартиру. Комната аккуратно прибрана — видно, что здесь живет Тамаш, но видно и то, что он женат: в ванной комнате я заметил в открытую дверь сушившуюся на плечиках батистовую ночную сорочку с отороченным кружевами воротом. Фотография висе-

ла на стене против двери в ванную, над их кроватью. Меня это не порадовало. Я изображен на фотографии в задумчивой позе, подбородок уперся в ладонь, словно я размышляю: а чем же, собственно, занимаются в постели эти двое? Взгляд мой туманен, видно, я никак не могу догадаться. Или мой взор устремлен уже в иной мир, из которого нагромождение твердых тел исчезает, уплывает в иные, неземные сферы? Нет, сказал я про себя, не в моем вкусе быть вечным свидетелем, хотя бы только двухмерным, бесчинств двух молодых существ, я всегда недолголюбил роль voyeur¹. Да есть в этом и чисто физическая несовместимость: что делать мне, двухмерному, среди тех, кто живет в трех измерениях? Зачем, для чего мне, двухмерному, взирать на то, как разоблачается стройное и красивое девичье тело?

Вот Кати сбрасывает туфли и, не глядя, привычно находит узенькой ножкой домашние шлепанцы.

Вот спускает юбку — я вижу это со стены, — юбка на мгновение задерживается на бедрах, затем, победив колебание, соскальзывает наземь, охватывая тонкие щиколотки волнующимся кольцом.

...как удачная фраза охватывает мысль, скажу я себе там, на стене, если захочется вдруг подыскать сравнение.

Она носит колготки, а не чулки, я и в этом могу убедиться оттуда, со стены.

Что думать нам о женской стыдливости?

Глядя со стены отрешенным взглядом одновременно и в мое прошлое, которое тут же подносит мне несколько разнообразных вариантов, признаем: *ma belle-fille* раздевается стыдливо, стесняясь даже своего молодого мужа. Она прячется за открытую дверцей шкафа, но зеркало,

¹ Наблюдателя (*франц.*).

к счастью, отражает ее по-девичьи угловатые быстрые движения как раз в мою сторону. Полагаю, она не подозревает о предательстве зеркала. Тонкими пальцами она расстегивает пуговицы на белой блузке, выпрастывает из нее обе руки сразу, бросает блузку на дверцу шкафа.

Три перламутровые пуговицы вспыхивают под электрическим светом. *Ma belle-fille* набрасывает сверху бюстгальтер, пуговицы затухают.

Теперь она стоит голая, маленькими грудями к самому зеркалу. Плечи худенькие — еще девочка, сказала про нее Жофи, — я различаю впадинку под ключицей. В коротком зеркале мне видна только плавная линия, уходящая к загорелому животу. Смочив слюной указательный палец правой руки, она проводит им сперва под правым, затем под левым глазом: так готовится она к ночи.

Ага, говорю я себе там, на стене, вот она и исчезла из зеркала. Уже в постели? Нет, она сидит на краешке кровати, весело покачивая голый ногой. Отсюда, сверху, мне не видно ее лица, она повернулась ко мне спиной. Больше ждать не стану, разве что самую чуточку, пока она — до того мгновения, когда погаснет свет и вспыхнет тело, — будет лежать, прижавшись к стенке, оставив место Тамашу, своему мужу, рядом с собой, над собой, под собой, в себе.

Но остановимся! И, простите меня, я сойду со стены. Не желаю наблюдать эту сцену ежедневно, хотя бы и в темноте, сказал я себе, такое мне не пристало, да и радости в том нет никакой. Отправимся-ка обратно, к нашему рабочему столу: за ним мне еще удастся, быть может, разок-другой покрасоваться в пышном убранстве — сродни октябрьскому убранству моих пашаретских дерев.

Итак, я снял свой портрет со стены, снес его вниз и запер в ящике стола.

Тамаш и Кати вернулись домой в полдень; не прошло и пяти минут, как в дверь робко постучали. Я сделал вид, будто не слышу. Опять стук, такой же скромный, но в тишине моей комнаты он отдался в сердце, словно вздох ребенка.

В двери, чуть склонив голову, тесно сдвинув коленки, стояла ma belle-fille в васильковой юбке и опять в белой блузке; верхняя пуговка была уже расстегнута, волосы слегка растрепались, как будто свою красную бархатную шляпку она сбросила второпях.

— Бо-пэ-ер,—сказала она, явно взволнованная,— милый бо-пэр!..

— Что вам угодно?—спросил я.

Так как она не ответила, я вновь склонился над рукописью.

— Не люблю, чтобы мне мешали утром, во время работы,—бросил я назад, не оборачиваясь.—Это относится ко всем лицам, именуемым членами семьи. Наш домашний распорядок достаточно ясен, за столько времени его вполне можно было усвоить.

Поскольку позади меня было по-прежнему тихо, следовало предположить, что посетительница моя застыла в дверях; я опять обернулся. Ma belle-fille была как натянутая струна, чей внутренний трепет неприметен для глаза, но при этом ясно: стоит к ней прикоснуться, и струна зазвенит. Она стояла прямо, тесно сдвинув колени, и с поднятой головой смотрела мне прямо в глаза. Она была восхитительна.

— Простите меня,—сказала она. И голос был тоже как натянутая струна.

— Ну-с?—спросил я.

— ...но я не люблю, милый бо-пэр,—продолжала она,—когда в мое отсутствие ко мне приходят подсматривать...

Я рассмеялся вслух: разъяренная косуля. Еще,

чего доброго, бодаться вздумает, мелькнула веселая мысль. Однако подзывать не стал, пускай постоит там, в дверях!

— Катрин,—сказал я,—уж нет ли у вас секретов от такого-то старика?

Она тотчас уловила перемену интонации, я видел это по ее глазам. Лицо у нее было изменчиво, словно небо ранней весной, малейшее облачко оставляло на нем след. Если бы не безмерное возмущение, она, может, и улыбнулась бы.

— Катрин,—сказал я,—от меня вам не нужно таиться. В моем возрасте человек уже раз и навсегда сложил оружие перед молодостью. Старые люди беззащитны, признаются они в том или нет, и даже если они с зайчиками—ведь зайчики не опасны! Какой смысл таиться от старика? Он не опасен, ибо от всего отказался и навредить способен уже разве только себе.

Сознаюсь, я намеренно преувеличивал немощность моего тела, было любопытно, насколько мне удастся перехитрить ее. Вернее—ее сердце.

Она все еще стояла в дверях.

— Как же не опасны, милый бо-пэр,—опять заговорила она, смело глядя мне в глаза.—Разве не вы украли у меня фотографию?

— Украл?

Она покраснела. Мне нравилось смотреть, как она краснеет, и я не упускал случая вогнать ее в краску.

— Вы говорите, я—украл?! Где вас учили приличиям, барышня?

Теперь она вспыхнула до самой шеи. И хотя не ответила, но ее молчание стоило удара кинжалом. Я едва удержался, чтобы опять не засмеяться громко; вот поистине достойная меня забава, подумал я,—беседовать с младенцем. Не знаю, во сколько раз я был ее старше, да и не мог бы высчитать с ходу. Но правду свою она обороняла так же упорно и воинственно, как насадка—яйца.

— Катрин,—сказал я и сам почувствовал, как укоризненно подымаю брови,—допускаю, что вы уже пожалели об этой мимолетной бестактности, и даже если не пожалели, то сердце ваше уже начинает тревожиться. Я знаю, у себя на родине, в Швейцарии, вы получили прекрасное воспитание, но с сожалением убеждаюсь, что вас не научили лгать. Говорить правду не обязательно, барышня. Особенно же не приличествует говорить правду людям старым, чья жизнь подходит к концу.

Я полагал, что тремоло этой фразы растрогает ее, но вместо этого растрогался сам. По-видимому, впредь мне следует быть начеку, дабы не расчувствоваться от собственных рулад. Но Кати была упорная, храбрая девочка и к тому же, возможно, видела меня насквозь.

— Вы еще достаточно молоды, бо-пэр,—сказала она воинственно,—чтобы вам можно было смело говорить правду.

— Смело?—спросил я.—Сомневаюсь. Однако войдите же, Катрин, приблизьтесь, вот сюда, к моему столу. У меня имеется для вас, барышня, важное сообщение.

— Лучше я постою здесь, в дверях,—сказала *ma belle-fille* упрямо.—Спасибо, но мне не хотелось бы долго докучать вам.

Теперь я посмеивался вслух.

— Докучать!—сказал я весело.—Когда красивая молодая женщина утомляет дряхлого старца беседой, для него это редкая радость, можно сказать, даже честь. Кстати, я хотел бы дать несколько разъяснений касательно моего возраста.

Оглядываясь на то утро, когда я был еще относительно свеж и крепок не только физически, но и духовно, я вижу теперь—ибо долгоиграющая пластинка нашей тогдашней беседы и сегодня звучит у меня в ушах,—что мне этот разговор был нужен больше, нежели той застывшей в дверях девочке, которую мне полагалось называть

невесткой. Я адресовал слова ей, но относил их к себе. И хотя все время знал, что не следовало бы так отягощать это волшебное создание с чуть-чуть излишне худенькой шеей и строптивым ртом, мной овладела такая потребность высказаться, какую испытывает верующий в исповедальне или, еще хуже, душевнобольной на диване психоаналитика. Ни разу за всю мою жизнь не умел я раскрыться и вот сейчас был к этому близок. Стало ли мне легче, не помню. Эти-то заметки—зачем я пишу их?

— Милый бо-пэр,—сказала Катрин, вернее, Катти, все еще стоя в дверях,—отдайте мне фотографию, прошу вас. Она моя.

— Чтобы вы на ней прокололи мне сердце длинной иглой?—сказал я.

— Вашего сердца там нет, только голова,—ответила девочка.—Я вас очень прошу, отдайте,

— А если вы глаза мне проткнете?—спросил я.—Почем знать, какие опасные желания кружат такую вот озорную девичью головку? Я желал бы осведомить вас, *ma chère belle-fille*,—продолжал я,—в чем состоит различие между людьми старыми и молодыми, особо остановившись на собственной достойной сожаления персоне. Возьмем прежде всего время: оно утекает из рук стариков как вода. Самая большая их забота—сколько его еще остается у них в запасе, знают они о том или не знают, но их организм днем и ночью занят этим вопросом. Когда старый человек встречается с другим старым человеком, он первым делом спрашивает про себя: а ему-то сколько еще остается? Я переживу его или он меня, черт возьми? Как бы я ни любил его и ни уважал, мне хочется оказаться позади него в по-нуром строю, шествующем к раю. Теперь вам станет понятно, барышня, почему я, страдая катастрофической нехваткой времени, не в состоянии заниматься вашей восхитительной особой, как вы того заслуживаете. Я настолько занят со-

бой, своими большими или меньшими, физическими или душевными бедами, занят непрерывно, днем и ночью, что ни о чем ином думать не могу и, чем бы ни попытался отвлечься, тотчас вновь возвращаюсь к своим невзгодам. Иными словами, я трус. Я боюсь, барышня. Страх наполняет каждый миг моего существования. Клетки моего мозга заполнены страхом. Вы спросите, чего я боюсь. Прошу простить мнимую грубость того, что я имею вам сообщить, — откровенное признание вообще бесстыдный жанр. Но я вынужден к нему обратиться, дабы заслужить — иной причины у меня нет — ваше прощение за то, что в начале нашей беседы...

Катрин вдруг сделала два шага к моему столу.

— Но, милый бо-пэр,— произнесла она испуганно и опять покраснела.

— ...за то, что в начале нашей беседы я позволил себе более резкий тон, чем тот, к какому вы привыкли в вашем упорядоченном швейцарском доме. Человек, вынужденный защищаться, нередко перегибает палку, так что не примите в обиду это признание, быть может и слишком интимное.

Еще один, уже почти доверчивый, шаг к моему столу. (Все-таки я заманю тебя, сказал я себе.) Еще одно: «Но милый бо-пэр!...»

— Итак, вы спрашиваете, чего я боюсь,— продолжал я.— Точнее, чем я так напуган? Вы видите: я улыбаюсь, но да не обманет вас, барышня, эта улыбка! Как ни смешно звучит, но меня до мозга костей пронизывает ужас при виде трещины на пятке левой ноги. На ней много трещин, но эта, перерезавшая пятку по самой середине, пылающе-красного цвета — как будто в теле моем открылся вдруг ад. Я знаю, что, если буду несколько вечеров подряд смазывать пятку не раз уже оправдавшим себя «Флогошаном»¹,

¹ Питательный крем.

трещина через два-три дня затянется, однако сознание, что в мое тело вдруг, бесконтрольно, открылся вход, не покидает меня ни на минуту и постоянно предупреждает... о чем? Что я умру? Ну полно, барышня, мы-то знаем, что я бессмертен. Однако с этим нашим убеждением представляется несовместимым ужас, какой охватывает меня из-за вспучивания, иначе говоря, из-за едва различимых глазом, но на ощупь заметных вздутий в животе; и хотя через час-другой это проходит, я просыпаюсь наутро с вопросом, который, еще даже не сформулированный, трепещет в мозгу: какая же поганая хворь поселилась в моем нутре, будто залив его свинцом? Или возьмем зубы: отчего они вдруг немеют, то верхняя, то нижняя челюсть, и к тому же без всякой причины? Я уж не жалею, что каждый вечер приходится капать в глаза привин и поддерживать старое сердце с помощью изоланида, — но отчего, улегшись наконец в постель, я начинаю сперва покашливать легонько, потом кашляю надсадно, хриплым баритоном, наподобие псов преисподней, и при этом, как ни откашливаюсь, как ни прочищаю горло, как ни перекидываюсь с правого бока на левый и с левого на правый, успокоиться удастся не раньше, как приняв кодерит с глотком-двумя холодной воды. И только я потушу лампу на ночном столике, как в ноги вступает судорога. Она сводит то одну, то другую ногу, то обе вместе, и, как я ни верчусь, как ни напрягаю мышцы, приходится включить свет, который больно режет полусмеженные сном глаза, и прыгать на одной ноге вокруг кровати, проклиная тот час, когда я родился. Ну-с, а что за голубовато-лиловые пятна обнаруживаю я на икрах ног, *ma belle-fille*, какой злой дух оставил там отпечатки пальцев своих, а то и ладоней?

Девочка стояла уже в двух шагах от моего стола. Она не смеялась. Вопреки всеобщему

предрассудку я был тогда убежден, что не Ева вышла из ребра Адамова, а, наоборот, Адам сотворен из ее ребра, ибо женское начало и есть та праматерия, из бурления коей выполз на свет го-мункулус. Мне не стыдно признаться, барышня, думал я про себя: вы значите больше, чем мы. Стоя по щиколотки в грязи, вы вобрали в себя всю ее силу, в ваши жилы впиталась вся трезвость, терпение, стойкость грязи. Вы не подымаете на смех страдания гения, даже если они только мнимы. Ласковый взор ваших глаз, напоминающих в лучшие минуты безответные коровьи глаза, быть может, однажды еще спасет нас... если все пойдет хорошо.

— Видите, Катрин,—сказал я,—даже такая девочка еще, вот как вы, с пониманием и терпением относится к людям, хотя бы ей и довелось с ними встретиться лишь в самую бренную пору их жизни. В благодарность, а также ради того, чтобы вас успокоить, добавлю: не принимайте всерьез все, что я напел вам. Я не говорю, чтобы вы не верили ни единому моему слову, однако примите сказанное с величайшими оговорками.

— Милый бо-пэр,—сказала Кати,—большое спасибо за то, что отнеслись ко мне с таким доверием. Я очень хорошо знаю, воображаемое несчастье способно мучить не меньше, чем настоящее.

— Стариков постигают, разумеется, не только воображаемые несчастья,—сказал я.—Потрескалась ли моя пятка, или я всего лишь представил себе это, или только боюсь, что так будет,—в конечном счете безразлично. Но людям моего возраста куда большая опасность грозит с противоположного полюса—она в клетках головного мозга. Это ведь как в сообщающихся сосудах: чем больше лет, тем выше уровень кальция. Как долго я буду еще в состоянии работать, Катрин? Когда перо выпадет из моих лиловых, покрытых

узлами вен рук? Они еще не лиловые, говорите вы?

Опять неуверенный шаг к моему столу, на лице — начатое и тут же прерванное движение губ, приоткрывшихся для так и не сказанного слова. Что может быть грациозней внезапно замершей девичьей фигурки?

— Множество признаков свидетельствуют о том, — продолжал я, — что и умственные мои способности скудеют. Я мог бы привести бесчисленное количество подтверждений этому моему наблюдению, которые в сумме своей, независимо от того, верны они или нет по отдельности, позволяют прийти к выводу, что я старею. Пожалуйста, не удивляйтесь, милая Катрин, что меня это все еще поражает. И капля в реке не ведает, у истока находится она или возле устья, — в глубине души и я столь же несведущ. Вернее, был бы несведущ, не получай я время от времени, и притом все чаще, одно за другим, злоеющие предупреждения. Вот я встаю внезапно из-за стола — и не знаю зачем. В рукописи осталась неоконченной фраза, так как мне нужно сделать что-то, но что? А ведь за этим «что» и еще что-то скрывается? В моем сознании, причем близко, у самой поверхности, выстраивается целая вереница неотложных дел, я чую их шевеление, но в чем они? Одно ничтожней другого, но я чувствую, что разобраться в них не способен. Я беспомощен, как будто центральная нервная система парализована. У меня не хватит времени, чтобы со всем справиться. У меня вообще нет времени. Знаю, что есть, и все равно его нет. Написать письмо. Надписать конверт к письму, уже написанному. Отнести документ наверх. Принять лекарство за полчаса до обеда. Позвонить по телефону. Сколько дел, столько же и угроз, и каждая является в образе вскинутого кулака, нацеленного прямо на мой мозг. Перед каждым я упадаю в отчаянии: у меня не хватит времени

его выполнить! Выполнить—прежде чем умру. Вообразите, милая Катрин, я не успею выпить мой желудочный чай перед тем, как умру! Не говоря уж о другой опасности—что я забуду его выпить! Или забуду отнести документы наверх. В вечной тревоге я то и дело подымаю от рукописи прокальцинированную голову и озираюсь в комнате—что же еще позабыл я исполнить? Вообще—что из прожитого забыто? Помню ли еще девичью фамилию жены? Вторую строку гимна? Но пока я найду наконец ответ в одной из клеток мозга и, несколько успокоившись, опять возьмусь за перо, продолжение незаконченной фразы забыто, словно кануло в известковую яму.

— Я не верю,—сказала Катрин с видимым волнением,—милый бо-пэр, я не верю тому, что вы говорите.

— И правильно делаете, барышня,—сказал я,—ибо вполне возможно, что все это верно лишь наполовину. С другой стороны, вы делаете неправильно, ибо сомнение—привилегия стариков, как привилегия молодых—вера. Когда второе сменяет в человеке первое—это явный признак, что склероз уже начал в нем свою разрушительную работу.

— И этому не верю, милый бо-пэр,—сказала девушка.—Мы, современная молодежь, уж лучше будем сомневаться, чем разочаровываться.

— Что станет со мной, *ma chère belle-fille*,—продолжал я,—если я не смогу больше работать? Уже и сейчас мне случается забыть дописать букву-другую, даже слог в конце слова, и нетрудно представить, что придет время, когда я буду опускать целые слова и даже целые фразы. Буду сидеть над чистым листом бумаги, уставясь в него, как слепец в зеркало. Писание—это последнее, что меня еще развлекает.

— Развлекает?! Не обижайте себя, милый бо-пэр!—сказала *ma belle-fille* сердито.—Не глумитесь над собою!

— Или это все же нечто большее, чем развлечение?— продолжал я.— Или я тружусь против приговора, выносимого смертью? Какой ни пустой выглядит подобная попытка—может, это и есть мое дело? Слабым пером моим возвести в закон примат жизни над тленом? Отыскать точку опоры в водовороте явлений и, ликуя, показать ее изверившемуся сердцу человечества? Вложить в руки сломленных и павших единственно утешающую пищу земную—надежду?

Поскольку *ma belle-fille* стояла уже подле меня и я чувствовал, что мне хочется дотронуться до ее узкой белой кисти с длинными пальцами, я внезапно поднялся с кресла и отошел к окну, к любимым моим деревьям, бегущим вдоль Пашарети, к их навеваемым ветрами играм.

— Вот так-то, барышня,—сказал я, не оборачиваясь.— Как видно, это и есть мое дело—похвала жизни, включая старость. Ибо есть ли, спрошу я вас, что-либо прекраснее жизни, особенно же завершающего ее этапа? Когда уже нет у человека неисполнимых желаний, поскольку их вовремя угасили и ему нечего больше ждать, поскольку и на ум уж нейдут ожидания. Когда все ничемные чувства ушли из его сердца, все суждения покинули разум—и человек пуст, как опроостанное утром мусорное ведро. Когда он способен уже лишь шаркать по дому, при условии, что ноги его не скрючило ревматизмом, подагрой, сужением сосудов, и когда нельзя знать наверное, доберется ли он до двери, направившись к ней. А если доберется, то найдет ли ручку, чтобы открыть ее. И когда неизвестно, повстречается ли, войдя в соседнюю комнату, с кем-то еще, кроме собственной тени. И сумеет ли, уже лишившийся языка, попросить об эутаназии, показав упавшей на горло рукой, о каком молит избавлении?

К сожалению, Катрин не умела владеть ни языком своим, ни молодыми мышцами. Внезап-

но она оказалась рядом со мной, у окна, и, не успев я опомниться, приподнялась на цыпочки и обвила мою шею руками.

— Но, барышня!...— сказал я.

— Молчите, бо-пэр!— сказала она, обжигая меня горячим юным дыханием.— Как вы смеете так говорить! Вам не совестно?

— Но, милая Катрин,—сказал я,—я говорил не о себе, я лишь набросал перед вами, то есть перед воображением вашим, общий эскиз старости. Разумеется, все это от меня еще далеко, тут и говорить нечего. На что бы я мог пожаловаться?.. Ни на что решительно. Что любовь уже не для меня?.. но, господи!.. Вы спрашиваете, что обрел я взамен? А разве не возмещает ее в полной мере безукоризненное пищеварение? Доставила ли когда-нибудь любовь столь же безмятежную радость, такое истинное, спокойное удовлетворение, как сознание, что я могу довериться упорядоченности моего организма—ну разумеется, не без помощи лекарственных средств? Поверьте мне, барышня...

Но продолжить я не мог, ибо, как ни хорошо воспитана была Кати, она вдруг заплакала навзрыд и, склонясь к моей руке, покрыла ее поцелуями. Когда же я отдернул руку, она бросилась мне на грудь и мокрым от слез, жарким, прелестным лицом прижалась к моему лицу.

— Неправда,—рыдала она,—неправда! Не верьте этому! Мы будем о вас заботиться, милый бо-пэр, не бойтесь, мы вас никогда не покинем.

Не знаю, сколько прошло времени после вышеописанной чувствительной сцены: как известно, уходящее время я не считаю, даже уходящие годы. Кажется мне—порукою моя безукоризненная и поныне память,—будто еще той же зимой... или уж на следующую зиму?.. словом, однажды я заболел и довольно долго провалялся в посте-

ли, что бывало со мной в жизни не часто, так что я даже подивился. Связи между болезнью и моим возрастом я не обнаружил, ведь гонконгский грипп А-2 уничтожил намного больше людей, чем средневековая чума, причем людей меня моложе — в ту зиму в одной только Центральной Европе умерло несколько сотен тысяч людей, — я же, старик, остался жив, хотя болезнь моя, как утверждали, былаотягчена опасными осложнениями.

Рассказывают, будто я, как только подскакивала температура, начинал заговариваться. Но откуда им знать, когда я говорил, а когда заговаривался? Мои многоуважаемые читатели, пасясь на зеленых лугах своего добронравия, сейчас обеспокоенно вскидывают головы: вместо привычного тьяканья логики им словно бы чудится волчий вой. (Впрочем, какие читатели — ведь я пишу для себя!) И в самом деле, кто же их надоумит, когда я изъясняюсь разумно, а когда завираюсь, если я и сам ничего прояснить не могу. Не только физиологический раствор говорит в человеке, когда он облекает в слова свои жалобы, — разогретая до сорока градусов клетка также способна к безумной отваге. Заговаривался?... а может, просто был откровенен? Быть может, раскаленная клетка выбалтывает то, в чем при обычной, тепленькой температуре признаться не смеет?

Во всяком случае, выздоровев, я прислушивался с величайшей подозрительностью, когда речь заходила о том, каков я был в бессознательном состоянии, и цитировался мой горячечный бред. Уж не выдал ли я себя? Сколько потребовалось времени — почти восемьдесят лет, — пока я с помощью длившейся бесконечно пластической операции из веры и разочарований, фактов и миражей, правды и лжи слепил в душе своей ту кажущуюся живой марионетку, с которой в конце концов свыкся настолько, что ныне могу уже

отождествлять себя с нею. Я до тех пор играл в верность, пока не стал действительно верен, в правдивость — пока не стал выполнять каждое обещание, в скромность — пока не облупился с меня толстый слой тщеславия, в порядочность — пока половина страны не доверила моему перу свое душевное благоденствие, в человеколюбца — пока... ну-ну, остановись, старина! И аутоотренинг имеет границы. Эдак на меня еще наклеют под конец ярлык гуманиста.

Представляю себе, как я лежу в голубой пижаме, с пылающим в жару лицом, а благоговейное собрание вокруг меня: сын, невестка, Жофи, врачи, сестра-сиделка — слушает, покачивая головами, какую я несу околесицу. Счастье еще, что они не записали на магнитофон мои речи о запредельном, то бишь о внутреннем, моем мире. Должно быть, верили в изворотливость моих легких и сердца — иными словами, допускали, что выкарабкаюсь. Как бы то ни было, я не подготовился к моему последнему предсмертному слову, кое затем может быть использовано для сборника литературных анекдотов; возможно, я и сам еще не испытывал особого желания упокоиться навечно. А может, просто забыл, что именно приготовил миру в виде последнего доброго ему напутствия? Тем более что мир интересуется, как известно, видимостью, а не фактами.

Самая острая пора болезни миновала, но и выздоровление затянулось надолго, так что за отсутствием работы и прочих занятий ввиду все еще полукондиционного, так сказать, моего состояния я имел возможность обратить более пристальное внимание на мою разросшуюся семью, равно как и на окружавший меня внешний мир. О семье моей могу отозваться, увы, только лишь с похвалой. Ее члены не доставили мне даже удовольствия на них поворчать, позабыв хотя бы раз-другой дать мне положенный антибиотик или иное лекарство, они так крепко

запеленали меня в заботы о моем здоровье, что ядохнуть не мог самостоятельно. Разумеется, от моего положительного сына Тамаша я не ждал ничего другого, но и пылкая швейцарская девчушка с явной радостью ухватила за возможность — представившуюся ей, по-видимому, впервые — послужить тому, что общее мнение именует женским призванием, то есть посрамлению и порабощению рода мужского.

Так, я знаю, что в самый разгар болезни, когда высокая температура еще несла иной раз угрозу старому моему сердцу, Тамаш с женой перебрались со своего этажа в соседнюю с моей комнату и даже — если я был беспокоен — сын проводил всю ночь напролет у моей постели, дремля в кресле. С него станется. Еще больше раздражала меня только Жофи, которая еженощно — когда молодые опять перекочевали к себе — входила ко мне, проверяя, не помер ли я. Шаркая ногами, она подступала к самой кровати и, остановясь, долго на меня смотрела, потом тихонько, якобы шадя мой сон, начинала смеяться всем своим беззубым ртом. Я знал, откуда такое злорадство: мне все же не удалось опередить ее! Хотя именно в те дни меня одолевала иной раз великая усталость и я не возражал бы, если бы все вокруг меня утихло.

В ту зиму на Пашарети, по крайней мере в нашем доме, было засилье божьих коровок — оттого ли, что стояли теплые погоды, оттого ли, что им выпала задача восстановить некое биологическое равновесие, как знать. Для меня на какое-то время моей болезни они стали развлечением. Я их наблюдал, или, лучше сказать, смотрел на них — других-то дел у меня не было. Вот одна всползла ко мне на подушку, к самому лицу, она была сплошное доверие. Без всякого на то права. Или именно в беззащитности — их сила, в неведении — храбрость? Надо мною по белой стене передвигаются, останавливаются, расправляют

хитиновые крылышки крохотные рубины, вот один с легким жужжанием пикирует на мой орлиный нос, который, словно антенна, торчит над осунувшимися в ту пору скулами, выступая значительно дальше обычного. В период выздоровления я стал особенно, непривычно отзывчив ко всему живому, исключая представителей рода людского: я мог часами забавляться, позволяя этим букашкам разгуливать по моим пальцам, перебираться с одного на другой, направлял их то туда, то сюда, пересчитывая у каждой черные пятнышки на блестящих красных спинках. Однажды Жофи застала меня за этой игрой.

— И чего вы все цацкаетесь с этими тварями, молодой барин?— сказала она сердито, подойдя к моему ложу и уперев руки в бока.

— Взгляните, Жофи, какие славные!— сказал я, протягивая к ней указательный палец, на кончике которого восседала маленькая капелька крови.

— Знаю я,— сказала Жофи,— с чего они полюбились вам с некоторыми пор. Летом небось на них и не взглянули.

Я не понял ее.

— С некоторых пор?

— Зря, что ли, прозвище-то у них — Катица-жушок!— сказала старуха.— Совсем вас девочка эта с ума свела.

Я смотрел на ее помятое старое лицо: в его морщинах когти стольких страданий прорезали след, что неудивительно, если и сердце под ними окаменело. Ее муж, два ее сына сгинули на войне, единственная дочь умерла от туберкулеза. Выходит, нужно пожалеть ее?

— Вы же знаете, Жофи,— сказал я,— врачи запретили мне волноваться. Оставьте мою комнату!

Или она забыла — конечно же, нет! — что еще недавно... когда ж это?... сама посоветовала мне взять девочку под мое покровительство. А если помнила — ведь не могло это выветриться из ее

памяти!—тогда какое недоброе подозрение, спрашивал я себя, помогло ее зловредному языку вырваться вдруг на волю? У женщин ревность обостряет чутье, и оно, увы, обычно их не обманывает, но кто бы мог подумать, что этим чутьем—пусть на сей раз оно промахнулось—обладают и столь почтенного возраста особы! Невесты когда уж усохли их матки, а они все еще завидуют? Да и в чем позавидовала мне эта давно перешагнувшая за грань человеческого возраста старуха, размышлял я,—в том, что еще могу залюбоваться очарованием молодой женщины? Что случай или, скажем, хороший вкус моего сына дал мне такую возможность? Что я могу побаловать легкие, нос в волнах аромата юного существа и с чистой душой обрести в том радость? Что я еще умею распознавать фей?

Да и что мне нужно от них?.. только их присутствие, ничего больше. Ни колыхание бедер, ни трепет груди, ни постанова ноги—одно лишь нематериализуемое счастье, каким одаряет душу простая песенка.

Sur le pont d'Avignon
on y danse, on y danse...¹

Простая песенка, чья материя—только голос; голос, чья материя—молодость; молодость, чья материя—радость. Много ли я прошу: возможности омыть мое старое сердце в той прелести, какую излучает молодая, красивая—хотя и слишком худошавая—женщина, прелести столь бесплотной, что я едва не забываю о ее источнике. Нет у меня желания хотя бы взять ее за руку. Довольно с меня и того, что я могу взглядом обрисовать ее силуэт. Погладить ее дыхание. В моем возрасте довольствуются просто сознанием, что здесь ли, там ли, но где-нибудь всегда

¹ На мосту Авиньонском
танцуют, танцуют... (*франц.*).

светит солнце, хотя сами мы если и решаемся выползти под его лучи, то лишь накинув на плечи черный берлинский платок Жофи.

Но выпадали на мою долю и более солидные радости: например, когда, близкий к выздоровлению, я мог уже на полчаса вставать с постели, мы стали завтракать с невесткой вдвоем — Тамаш теперь ходил на службу. Жофи накрывала в столовой. Катрин ждала у себя наверху девяти часов, когда я подымался. Окно столовой выходило на юг, и в ясную погоду к нам заглядывало солнце. Я усаживал девочку так, чтобы оно светило на нее, моя невестка того заслуживала. Солнце освещало ее губы, еще влажные после ночного сна, даже когда улетучивался утренний ментоловый запах зубной пасты. Она наливала мне в кружку кофе с молоком, и ее обычная угловатость сменялась вдруг плавными движениями заботливой и внимательной хозяйки дома. Она разрезала булочку, намазывала ее маслом — никогда, за всю мою долгую жизнь, не испытывал я такого доверия к булочке с маслом. Когда же наконец она и сама принималась за еду, я отводил глаза, чтобы нескромному взору не открылись сверкающие тайны зева ее и зубов. «Почитать газету, бо-пэр?» — спрашивала она, управившись с полновесным завтраком, долженствовавшим поддержать ее плоть: чаем, двумя яйцами всмятку, ветчиной, — и закуривая сигарету. В то время я уж многие годы не брал в руки газету — зачем мне она?.. еще раз обозреть старыми глазами меняющуюся в деталях, а в общем неизменную панораму мира?.. забыть в думах о страданиях ближних?.. Нет, полагал я в то время, развлечь меня по-настоящему могут лишь ближайшие родственные узы, да и то иной раз плакать хочется. Совсем другое дело, продолжал я размышлять, заканчивая очередной наш совместный завтрак, ежели мир приходит ко мне по волнам молодого, особенно этого ми-

лого молодого голоса, от которого и преступления кажутся не столь жестокими; вот почему я каждый день просил невестку читать мне попеременно «Непсабадшаг», либо «Мадьяр немзет», или любую другую газету, какая попадалась под руки, а иногда, приперчивая удовольствие, выслушивал еще и передовую статью, выпеваемую ее женевско-дебреценским говорком.

Моя последняя любовь, я прощаюсь с тобою.

Пусть твоим образом завершатся эти записки, пока, сохраняя в относительной исправности сердце и при более или менее ясном рассудке, я еще в состоянии воспроизвести его. Не ропща, без злобы.

То, что засим последует — пора моего угасания, — касается меня одного. И даже этим запискам доверено быть не может... мне вообще не хотелось бы это запечатлевать, хотя бы и только для себя самого. Описание моей старости надлежит оборвать здесь, сейчас, пока я как-то еще владею моим пером, пока я ему хозяин. Продолжение, последний этап моего распада, интереса не представляет. Буду ли я впредь, под занавес, способен писать-читать, буду ли еще и понимать написанное, бог весть. Но если все же, еще отчетливо себя сознавая, я натолкнусь вдруг на этот короткий отрывок моей биографии, возможно, он послужит для меня подтверждением, что к старости я был с собой откровенен настолько, насколько это под силу человеку, а тем самым был по возможности честен с другими. И что не чужаком рыскал среди людей...

Время выздоровления было, пожалуй, самым счастливым временем всей моей жизни. Или только старости?.. Я все же склоняюсь к первому определению. У меня не было несбыточных желаний. Я испытывал удовлетворение, довольствовался тем, чем дарила меня судьба. Одним

лишь ее присутствием. Даже только сознанием ее присутствия. Его отблеском. Стоило мне услышать ее легкие, ни на чьи не похожие шаги за стеною, в столовой, или еще дальше, в прихожей, как на меня нисходило великое облегчение, даже если шаги эти не приближались ко мне, облегчение, подобное тому, когда с совести спадает тяжкий груз. Словно мне отпустили грехи мои. Становилось легко, как если бы я выплатил тяготивший меня долг... кому?... жизни?... самому себе? Как будто и телесные страдания мои были уже где-то по ту сторону бытия, на другом берегу Леты. Ее присутствие в доме — как постоянно действующее болеутоляющее. И я неизменно довольствовался тем, что это ее присутствие мне от себя уделяло: если только шаги — значит, шагами. Если она разговаривала за стеною с Жофи — ее голосом. Если же удавалось разобрать и слова — я брал их на язык, примеривал на слух, смакуя то одно из них, то другое, выпевал их про себя, подражая неповторимым ее интонациям. Если она входила ко мне на цыпочках и замирала на пороге затемненной жалюзи комнаты, прислушиваясь, заснул ли я, ее осиянный лучами облик в белом платье вспархивал мне на сетчатку глаз и там оставался дивным видением. Если она от порога приближалась ко мне, я был счастлив. Если присаживалась на миг на краешек моей кровати... Но если и не садилась, не приближалась, если прямо с порога поворачивала назад...

Мне не хотелось даже поддержать ее за руку.

Пожалуй, маловерие — величайший дар старости. Пусть оно лишает надежды, но зато от скольких разочарований нас избавляет! Если бы бессонною ночью я размышлял о том, что вот сейчас по милостивому соизволению судьбы например, вспугнутая дурным сновидением — Катрин вдруг проснется, догадается о моих терзаниях или даже услышит — этажом

выше! — мои не сдерживаемые в этот час вздохи-стенания и, накинув красно-черный полосатый халатик, сбежит среди ночи ко мне, я в первую же минуту отрезвления, то есть какой-нибудь минутою позже, расхохотался бы, невзирая на все мои муки. И когда однажды это все же случилось, когда она, встав в три часа ночи и пошатываясь со сна, прибрела ко мне, оттого что ей «привиделся дурной сон», я — я удовольствовался этим неожиданным, душу перевернувшим визитом и ни разу в последующие бессонные ночи не томился надеждой, что вот сейчас вновь скрипнет лестница, ведущая к ним на этаж, и от приотворенной осторожно двери на меня опять повеет едва уловимо ее французским одеколоном.

— Барышня, — сказал я ей в первый же раз, — что это пришло вам в голову? Тревожить ночной покой старика!

— У вас в комнате горел свет, милый бо-пэр, — сказала девочка.

— Ночное мое беспокойство также не извольте тревожить! — сказал я.

— Мне такой дурной сон приснился, милый бо-пэр!

Я сел в постели.

— В подобных случаях извольте будить супруга, — объявил я. — Успокаивать вас — его дело... и даже обязанность.

Девочка рассмеялась.

— Что толку будить его, бо-пэр, он так громко храпит, что все равно не услышит.

— Гм, у нас в семействе храпеть не принято, — сказал я. — Он выродок, разведитесь с ним!.. А теперь ступайте к себе, я хочу спать.

По едва заметному дрожанию губ я видел, что ей хочется посмеяться еще, но она себя сдерживает. Только в дверях она обернулась.

— Вы тоже храпите, бо-пэр, — сказала она, уже смеясь вслух. — Так храпите, что через две комнаты слышно.

— Барышня,—сказал я,—хороший слух не оправдание неучтивости. Старому человеку не следует резать правду в глаза, особенно ежели он еще только оправляется от болезни.

— Я ухажу,—сказала *ma belle-fille*.—Но даже в постели все буду смеяться.

Мог ли я получить больше в последние мои годы, чем возможность влюбиться в фантом? Если бы, не дай бог, мне еще не были чужды упования, то есть имей я глаза ненасытнее, сколько новых разочарований постигло бы мое и так-то довольно изношенное сердце! Желаниям должно сообразоваться с жизненной силой: коль она опадает, им тоже туда и дорога! Но признаться ли—коль скоро я почитаю себя человеком откровенным... поскольку то и другое не бывает вполне синхронно, надежды старца иной раз забегают вперед, опережают, пусть на каких-нибудь полшажка, его же собственную мудрость. Впрочем, равновесия от того он не теряет. И не клянет бога, то и дело поглядывая в бесконечно длящейся предрассветной мгле бесконечной летней ночи на словно застывшие стрелки часов. И не впадает в отчаяние, если каждая одинокая его ночь представляется ему годом, тогда как день, наполненный Катрин, мелькает, будто одна секунда. Его настроение—словно вода в лужице, что волнуется, идет морщинами от малейшего дуновения ветерка. Хотя всем известно: лужа спокойнее, чем море.

Вот так в конце лета—не ропща и без гнева, как было сказано,—я по просьбе невестки согласился завтракать один: Тамашу не нравилось, что утром—из-за службы своей он подымался раньше—ему приходится завтракать на кухне, довольствуясь обществом Жофи. То, что сообщение это, для меня, увы, неожиданное, как гром среди ясного неба, я мог выслушать, не смутясь душой, не испытав разочарования, даже не затаив на Тамаша обиды, было, несомненно,

наградой за стариковское мое маловерие; между тем мой утренний кофе, выпитый в обществе Катрин, был кульминацией каждого дня, которая, стирая полностью самую память о недобрых ночах, вновь и вновь открывала собой череду моих маленьких дневных упований.

Правда, к этому времени мое состояние основательно улучшилось, я мог уже несколько раз в день на час покинуть постель, мог раз-другой обойти дом вокруг. Ноги мои еще дрожали, все мои дряхлые члены скрипели, словно части вы-бракованной машины, и только мозг, жаловаться на который, кстати, я не имел оснований даже в разгар болезни, работал сравнительно сносно, работал, увы, и ночью, противоборствуя любым снотворным. Очевидно, поэтому я угадывал каждую мысль Жофи—это было нетрудно,—когда она впервые накрывала стол для моего одинокого завтрака. «А все ж таки не худо иметь в доме старую прислугу»,—думала она, вероятно, хотя и без ухмылки, но с хитрецою в глазах.

— Ну-ка присядьте со мной, старушка,—сказал я, отодвигая для нее опустевший стул моей невестки.—Зачем вы опять подслушивали нынче ночью у меня под дверью? Разве я не запретил вам?

Но старая моя домоправительница обошла стол и села напротив меня. Из почтения или в насмешку—трудно сказать.

— Я ведь тоже, бывает, не сплю ночью, молодой барин,—сказала она.—Чего ж не глянуть, коли уж все равно на ногах, вдруг вам что нужно.

— Мне нужно, чтобы меня оставили в покое,—сказал я.—Известно ли вам, Жофи, что улыбка—благороднейшее выражение лица человеческого? Вы же только ухмыляться умеете.

— Это потому, что зубов у меня нет, молодой барин,—сказала Жофи.—Вот как и у вас-то повыпадут...

— На это не рассчитывайте,—сказал я.—Я и на

смертном одре кусаться буду. А кстати, почему вы ухмыльнулись или, скажем, улыбнулись, когда я предложил вам присесть? Подумали небось: птичка вылетела, теперь и старая Жофи сойдет, так?

Жофи помолчала, словно хотела проглотить слова, уже рвавшиеся с языка.

— Ну покаркайте уж, коли на то пошло!

— Только б не досталось вам еще горших разочарований, молодой барин,— сказала старая домоправительница и с жалостью уставила на меня свои маленькие водянистые глаза.— Вот когда меня уже не будет, чтобы вам тут прислуживать, и останетесь вы один как перст...

— За меня, моя старушка, не бойтесь,— сказал я и, если память мне не изменяет, даже засмеялся,— таким стариканам, как мы с вами, особенно много разочарований уже не грозит. Нам-то с вами известно, какова молодежь... А мне вот известно еще, каковы старые злые завистницы, которые для чужого рта кусок хлеба жалеют...

— Ладно вам, не волнуйтесь уж!— сказала Жофи.— Эдак-то и здоровью во вред.

И все-таки в тот день, после первого моего одинокого завтрака, я поднялся от стола с тяжелым сердцем, даже не пошел в сад. Не предсказания моей домоправительницы так меня взбудоражили—им-то я верил и не верил,—а поразительное открытие: кажется, уж все во мне выгорело дотла, и вот одна точно нацеленная из ада искра—и меня опять опалило.

Если не ошибаюсь, в тот год стояла у нас долгая теплая осень; меня нарядили в легкий серый костюм, когда я решил первый раз выйти со двора. Пройтись по улице Кароя Лотца до конца, затем по аллее Эржебет Силади, по улице Хазмана—и назад, по Пашарети. Моя невестка попыталась взять меня под руку, очевидно, чтобы поддерживать. Но мне не хотелось касаться даже платья ее.

— Барышня,— сказал я,— мне не нравится производить сенсацию. Кто-нибудь, пожалуй, еще примет вас за мою незаконную правнучку. Коль скоро я могу один ходить по саду, то обойдусь и здесь без вашей нежной поддержки.

С этого прекрасного осеннего дня и отчисляю я поворот в моей судьбе к последующему, более суровому жизненному этапу. Я принял его спокойно, моя вошедшая в поговорку мудрость, вероятно, предугадывала—хотя и не заявляла о том громогласно,—что вслед за подъемом рано или поздно должен наступить спад. После обеда я захотел повторить прогулку, но оказалось, *ma belle-fille* занята. Я был ошеломлен—упоминаю об этом лишь как о примечательном факте. Правда, я тотчас совладал с потрясением и нынче уже весело смеюсь, припоминая, как был обескуражен, однако—благодарение моей вновь ожившей великолепной памяти—я и сейчас не забыл тот сердечный спазм, что-то вроде микроинфаркта, который заставил меня тогда опуститься на ближайший стул! Известно, как быстро привыкает человек к хорошему и как дивится, в избалованности своей, когда поток добра вдруг иссякает. Но чего ж, в самом деле, ждет он упрямой своею глупой свинячьей башкой, если и опыт тысячелетий не мог примирить его с судьбой?

Назавтра после обеда Катрин опять была занята. На третий день, помнится, тоже. А ну-ка, покрасуюсь своей памятью: ее первая отлучка выпала на пятницу, она пошла в Институт Франции, где показывали какой-то фильм Трюфо. На следующий день она уговорилась о встрече с девушкой-француженкой Аннамарией, с которой там и познакомилась, и женихом ее, тоже французом. На третий день, в воскресенье, поднялась с Тамашем на гору Хармашхатар, вернулась домой поздно вечером, раздумываясь, счастливая, усталая, и тут же

легла, Тамаш забрал ужин прямо в комнату. Продолжать ли, припоминать еще и четвертый день... к чему? Пожалуй, так мне бы и самому показалось, будто я был несчастлив, или обижен, или хотя бы мрачен, а между тем я всего-навсего был охвачен таким чувством, какое испытал бы человек абсолютно здоровый, если бы у него на секунду-другую начались перебои в сердце,—он просто не понимал бы, что с ним происходит. Или еще трезвее: как будто в твоей привычно обставленной комнате сняли со стены картину и ты, глянув на пустой светлый квадрат, видишь только ее отсутствие.

Естественно, в первые дни мне было еще непривычно, что девушка то и дело выпархивает из дому, иной раз убегает прямо с утра.

Однажды, когда ее отсутствие, сам не знаю отчего, особенно меня томило, я поплелся наверх, в ее комнату. Врач, правда, запретил мне лазать по лестницам, но тут я подумал: а почему бы в кои-то веки не быть и к себе беспощадным? Стоило мне, слегка задохнувшись, отворить дверь в ее комнату, я в тот же миг успокоился. Истерические всплески улеглись, в душу вернулся покой. Аромат одеколона Катрин так пропитал воздух, что на мгновение я просто увидел ее, сидящую в своем полосатом красно-черном халате у рабочего столика с книжкой в руках. Это было приятно. Я опустился в кресло, смотрел и нюхал: столько-то и старику невозбранно, думал я. Поблескивали серебряные домашние туфельки у кровати, напоминая о ее быстрой поступи. Небрежно раскинулось через стул платье — знак обычной ее беспечности. Иллюстрированные газеты на полу, тоже возле кровати. Невыключенная лампочка над трюмо. На ночном столике недопитый стакан с еще сверкающей пузырьками минеральной водой, со следами губной помады по краю. Даже когда ее не было, все свидетельствовало о том, что она

здесь. Хотя бы этот хлюпающий в ванной, плохо ею завернутый кран. Когда добрых полчаса спустя, закончив инвентарную опись, я, шаркая, спустился к себе и лег в постель, то, сколь ни мало свойственно мне предаваться фантазиям, испытал чувство удовлетворения столь полное, и физически тоже, с каким, бывало — давным-давно, — ночью на цыпочках выходил после любовного свидания из спальни моей уснувшей жены.

Однако же будем придерживаться фактов: хотя невестка моя с той поры регулярно ходила в Институт на чтения, часто встречалась с Аннамарией, новой подругой-француженкой, и ее окружением, хотя она посещала еще и лекции по венгерской литературе в университете, а вечерами бывала иногда с Тамашем в театре, я могу с чистой душой повторить, что время выздоровления было, пожалуй, самым счастливым в моей старости, если не всей жизни.

Я жил с притушенными желаниями, как и пристало возрасту моему и обретенной с возрастом затаенности, а потому всякий раз получал больше, чем даже желал. Если дом целый день был пуст, к обеду он весь наполнялся смехом Катрин, ее легкими довольными вздохами над тарелкой — а ведь иной раз мы еще и ужинали вместе! Поскольку в результате болезни у меня ухудшилось зрение и помногу читать я не мог, дни мои протекали, можно сказать, в сомнамбулическом состоянии, с краткими пробуждениями — дважды в день. Но я мог бы сказать и так: они проходили в счастливом ожидании — с утра до полудня, с полудня до вечера.

Сейчас, когда я пишу эти строки, мне трудно припомнить, сколько же все-таки продолжалась эта райская жизнь. Вероятно, дольше, чем способно удержать в себе обыкновенное человеческое воображение. Скажем, три месяца?.. полгода?.. разве этого мало для счастья? Помнится,

уже наступила весна, когда ко мне постучался мой сын Тамаш.

— Вы хорошо себя чувствуете, дорогой отец?

— Превосходно.

— Может, хотели бы уже лечь спать?

— Хотеть хотел бы, сынок, а вот уснуть не уснул бы.

— У меня просьба к вам...

— Ты меня пугаешь, сын. Вероятно, ты в большом затруднении, если решаешься...

— С тяжелым сердцем...

— Слушаю же, выкладывай наконец!

Нет, я отнюдь не горел нетерпением, но уже угадывал дурное, не зная, конечно, откуда придет и куда нацелен удар. Беспокоило и то, что Тамаш явился без девочки, один. Уж не поссорились ли, спросил я себя. Но это касалось бы их одних — откуда же тогда эта тяжесть в области сердца и парализующий шок дурного предчувствия? Предчувствия настолько оправданного, что, услышав сообщение Тамаша, я едва сумел скрыть внезапную дурноту. Чтобы с этим покончить, скажу сразу: они желали от меня съехать.

— Мы хотели бы переехать от вас, дорогой отец, — сказал Тамаш.

Чтобы скрыть свое потрясение, я повернулся к Тамашу спиной и подошел к окну.

— Почему?

— Хочу стоять на собственных ногах, дорогой отец.

— Ты на них и стоишь.

— Только на одной, отец. А мне хочется убедиться, могу ли я жить, рассчитывая лишь на себя.

— Других причин нет?

— Сказав, что хочу стоять на собственных ногах, дорогой отец, я свел тем воедино множество различных побуждений, моральных и практических. Если позволите, я их перечислю.

— Перечисляй! — сказал я.

Я почувствовал себя плохо, поэтому вернулся к кровати, сел. Зная обстоятельность мыслей и речи моего сына Тамаша, я понял: если останусь на ногах, им не выдержать. Как, впрочем, и сердцу, с ним надо поосторожней.

– Перечисляй! – повторил я. – Сядь!

– Я не хочу до конца моей жизни существовать на ваш счет, на ваши деньги, дорогой отец.

– До конца твоей жизни?.. Это у тебя здорово получилось. Ну, продолжай!

– Простите меня! Я, конечно, знаю, что вы, не считая...

– Если знаешь, перейдем к следующему звену. Идет?

– Это не так-то для меня просто, дорогой отец. Человеку бывает необходимо доказать себе самому собственную силу и жизнеспособность, если он не хочет удовольствоваться тем, что «до конца своей жизни» – простите! – останется сыном известного писателя.

– Вы даже не подозреваете, сударь мой, как скоро позабудут обо мне после моей смерти. Ну-с, продолжайте!

Я мог бы даже не слушать его, я уже знал, что повержен, разбит. Да, знал, с той самой минуты, как сын вошел ко мне. И напрасно тянуло ко мне от окна ласковым вечерним ветерком, и напрасно мои любимые деревья за окном вдоль Пашарети...

– Мне неприятно слышать, дорогой отец, – сказал Тамаш, – что вы так мало цените...

– Ценю, сын мой, ценю. Но перейдем, с твоего разрешения, к причинам практического свойства. Мы, второразрядные писатели, не любим витать в облаках.

Только сейчас Тамаш сел: как видно, для него, существа нравственного, это была самая трудная часть.

– Комната наверху вам мала? – спросил я, чтобы как-то сдвинуться с места.

Тамаш—сама скромность—проглотил комок.
— Мала, дорогой отец. После службы я хотел бы работать еще и дома... вдвоем в одной комнате мы невольно мешаем друг другу.

— Ну-ну,—вырвалось у меня с горечью,—мешаете друг другу? Кто бы мог подумать!

Тамаш взглянул на меня вопросительно и не ответил.

— Перебирайтесь на первый этаж,—сказал я.— Столовую и приемную можно запросто превратить в кабинет и спальню... А то и еще проще—наверх переберусь я.

— Вы смеетесь надо мной, дорогой отец,—сказал Тамаш. По нему было видно: я обидел его. В самом деле обидел—я это признал, хотя и не высказал вслух. Разве нельзя человеку, разволновавшись, быть немножко несправедливым?

— С вашего позволения, я продолжу, дорогой отец,—сказал Тамаш.— Нам еще потому тесновато в одной комнате, что Кати ждет ребенка.

Я опять встал, подошел к окну. Было тихо—и снаружи и внутри. Молчал и Тамаш.

— Беременна?

— На третьем месяце, дорогой отец.

— Точно ли?

— Точно, отец.

— У врача были?

— Были.

Девочке конец, подумал я. Провалились все ко всем чертям! Я опять сел на кровать. Комната описала вместе со мною круг, но потом остановилась. Я надеялся, что Тамаш не замечает моего состояния. Он сидел передо мной опустив голову, как будто забеременел сам. Оба мы не произнесли ни слова. Нарушил молчание я, в конце концов, из нас двоих я был старше, опытнее, бесстыднее.

— Поздравляю,—сказал я.— Надеюсь, будет мальчик, но пойдет не в деда, это дурная наследственность. Зачем вы так рано начали? Желаете

споспешествовать демографическому росту нации?

— Возможно,—сказал Тамаш, как показалось мне, уже с некоторым раздражением.—Мы оба хотим иметь много детей, дорогой отец.

— Placet¹,—сказал я.—Единственный ребенок в самом деле нехорошо... только не принимайте этого на свой счет, сударь мой! На третьем месяце, говоришь? Еще можно избавиться...

Стук в дверь: Катрин.

Удивленно:

— Ты здесь, Тамаш?—Весело:—И о чем же это вы тут вдвоем беседуете?

— Барышня,—сказал я,—либо войдите в комнату, либо останьтесь за порогом. Вам, должно быть, известно, что я не терплю перекличку через распахнутые двери.

Но она все же осталась в дверях—готовая к бегству?

— Уж не сказал ли ты?—вдруг взволновавшись, спросила она Тамаша.

— Сказал.

— Все?

— Все,—ответил Тамаш.

Девочка прикрыла за собой дверь. Ее лицо пылало, шея тоже. Она по-прежнему стояла у двери.

— Все?—переспросила она. И двинулась к моей постели: ноги несли вперед, душа увлекала назад.

— Все правильно, дети мои,—сказал я.—Правильно. Старость молодости не пара. А уж если к ним еще и третье поколение прибавится...

Внезапно девочка бросилась ко мне со всех ног и у самой кровати присела на корточки. В ее глазах стояли слезы. Она схватила мою безвольно висевшую руку, поцеловала. Я, конечно, отдернул ее, но она продолжала все так же сидеть на корточках перед кроватью.

¹ Быть посему (лат.).

– Милый, дорогой бо-пэр,—сказала она чуть слышно,—ничего, ничего не бойтесь! Я каждый день стану приходить к вам, каждый день! Вы только подумаете про меня, а я уже тут как тут, даже звать не нужно—я угадаю, вы же знаете. Каждый день буду здесь, а по воскресеньям и Тамаша прихвачу. Вот увидите...

По ее побледневшим щекам катились детские, крупные слезы, даже всхлипы сдержать она не умела.

– Не плачьте, барышня,—сказал я,—и, главное, меня не утешайте. О вашем переезде я весьма сожалею, но в отчаяние из-за этого не прихожу. Короче говоря, вы беременны? И уверены в этом?

– Уверена.

– На каком же месяце?

– На третьем.

– У врача были?

– Были, милый бо-пэр. Но я стану приходить каждый-каждый день, милый, хороший бо-пэр!

– И когда появится ребенок? Ну, неважно. Почему вы изволили так поспешить, барышня? А известно ли вам, что сейчас еще не поздно было бы изгнать плод?

– Нет!—крикнула девочка.—Нет!

Это прозвучало так отчаянно, так гневно, как будто я на цепи волок ее к операционному столу.

– Почему вы изволили так поспешить, барышня?—спросил я еще раз.

– Тамаш хочет много детей,—сказала Катрин и разрыдалась громко.—И я тоже. А с детьми в этой маленькой комнатке мы не разместимся.

– Разумеется, нет,—сказал я.—Не говоря уж о том, что я терпеть не могу детскую кутерьму. Ведь и Тамаша я отправлял в Швейцарию не затем, чтобы он познакомился с вами, барышня, а потому, что он мешал моей работе. Вам, вероятно, известно, что работа для меня главное. И ничто иное в жизни меня не интересует.

– Я буду приходить каждый день, милый бо-

пэр,—сказала Катрин.

— Мы и прежде жили с Жофи вдвоем,—сказал я,—проживем и теперь. Но как, однако, собираетесь вы раздобыть квартиру? Нынче ведь их не предлагают на каждом углу, как в те времена, когда я женился, себе на беду.

— Квартира уже есть, дорогой отец,—сказал Тамаш.

— Невероятно,—сказал я.

Сердце мое опять сжалось. Этого я не ожидал.

— Невероятно,—повторил я.— Надеюсь, где-то здесь поблизости?

— В Кишпеште. Совсем рядом с моей фабрикой,—сказал Тамаш.

— Понимаю,—сказал я.— И барышня намерена ежедневно навещать меня—из Кишпешта.

— Одна квартира в кооперативном доме оказалась свободна,—сказал Тамаш,—и если бы вы, отец, могли немного помочь...

— Деньгами? Всеми, сколько у меня есть, сынок.

Я еще поворошил в мозгу, который от волнения соображал медленней, чем обычно.

— Но разве не лучше было бы...

Я не договорил. С первой минуты, как заговорил Тамаш, я знал, что побит.

— Пустяки,—сказал я.— Просто подумал было, что, если бы не спех, можно бы купить квартиру здесь, неподалеку от меня, чтобы ребенок рос на здоровом пашаретском воздухе. А Тамашу я купил бы машину... Но оставим это, сынок! Ты говоришь, квартира в Кишпеште готова?.. Рядом с фабрикой?

— Можно переезжать хоть завтра,—сказал Тамаш.

— Дети мои,—сказал я,—в течение всей моей тихой, малопримечательной жизни, лишь в молодости знававшей кое-какие скромные всплески, я заботился об одном: о том, чтобы в свое удовольствие, не считая, растрачивать деньги, силы, способности, все, сколько бы их ни было.

Подражая природе, я воспитал себя беспечным, будучи убежден, очевидно, в своем бессмертии. Если кто-то хотел надуть меня, лишив денег или обманув в преданности, я над ним только посмеивался. Лишь в эти последние годы я ловил себя — не часто, но всегда с презрением — на некоторой скупости. Если один-два раза в год я спрашивал у Жофи отчет в хозяйственных расходах, после этого приходилось устраивать себе хорошую парилку, так было тошно. Высказав все это в виде пролога, я желал бы сейчас, когда мы расстаемся, снабдить вас на дорогу серией советов — разумеется, зная, что вы ими не воспользуетесь. Первый совет: не экономничайте, дети мои. Прижимистость есть вторая кара господня после первой — изгнания нас из рая. Не уподобляйтесь муравьям, тратьте без страха, радостно, щедро! Пока у меня есть деньги, они есть и у вас. Не откладывайте на черный день, бережливость разъедает молодую душу, как жучок дерево. На наследство, впрочем, слишком не рассчитывайте, так как после моей смерти состояния останется ровно столько, сколько воздействия от трудов моих — иными словами, нисколько. Ну, может быть, издадут еще раз для виду одну-две мои книжки, но и тут причины для радости мало, ведь наследникам полагается лишь четвертая часть гонорара.

Второй совет: не попадайтесь на удочку десяти заповедей, сын мой и моя невестка! Из них, десяти, выберите по своему вкусу те, которые вам хочется воспринять. Не поддавайтесь общественному лицемерию, ибо исправить человечество вы не можете, себя же погубите. Будем порядочны лишь в той мере, какую выдерживает наш костяк. Ежели один из вас, по наущениям Ричарда III, пожелает стать негодяем — хотя, как я вижу, у вас, сударыня, и у вас, сударь мой, наклонностей к этому мало, — но если все же искушение защекочет ваши сердца, или разум, или

пол, не спешите отпрянуть от исполнения ваших грез. Я говорю не о том, что в жизни можно преуспеть лишь хитростью, насилием, обманом, пролитием крови—это ясно и так, но есть ведь цель еще более достойная, нежели успех,—постараться жить в мире с нашими слабостями. Хотя и успехом, разумеется, пренебрегать не следует. Но не забывайте: тщеславие человеческое ненасытно, и, как извращенная мать, оно пожирает собственные, в муках рожденные, достижения. Таким образом, остается лишь Приключение, но если, паче чаяния, оно привлечет вас—увы, увыв... ибо нынче стоящее Приключение найдешь разве что в преступлении либо в сексуальной жизни, а я весьма сомневаюсь, чтобы вы были способны в любой из этих областей подняться до вершин бесчестья. Я, например, оказался для этого слаб.

Однако же старайтесь удержать равновесие, молодые люди, между скаредностью мира и безмерностью наших вожелений. Для достижения указанной цели рекомендуется среди прочего проявлять почтение к власти. Не будем исследовать ни источник ее, ни цели, а тем паче ее природу, ибо человек от этого лишь нервничает, сердится, приходит в ярость, в лучшем случае впадает в тоску. Ни в коем разе не должно судить ее, это может кончиться плохо! Но и в себе разбираться надобно лишь с оглядкой—вот таким-то образом и может быть установлено это глупое равновесие, потребное для сохранения человеческого общества.

Я опять сел на кровать, я очень устал.

— Все прочее потом, в Кишпеште!—сказал я.

Дни, остававшиеся до их отъезда—две или три недели,—я заполнил прожектami. Времени на это у меня было вдоволь, невестка с утра до вечера бегала по магазинам. Покупала в комиссионном мебель, кухню, приобретала всякую всячину в универмагах, на толкучке на Эчери; вечером являлась смертельно усталая, счастливая. Ужинали

мы втроем – с Тамашем; после ужина, приучая себя к одиночеству, я удалялся в свою комнату.

Я решил, что после их отъезда стану завтракать вместе с Жофи. Радости, конечно, немного, но я привыкну. Жофи тоже начнет сперва кочевряжиться, но в конце концов согласится. Будем, два старика, жевать на пару. Я больше не намерен осуждать себя на одиночное заключение. Из нас двоих, надеюсь, я умру первым. Теперь уж я и дряхлее, да и, правду сказать, старше... но, с другой стороны, ведь Жофи, бедняжка, всю жизнь тащила на своей горбатой спине ношу куда тяжелее, чем я. Просто не устаю удивляться, с каким спокойствием терпит она оскорбления, наносимые старостью; словно нет ничего естественнее на свете, что в старости человек хиреет и умирает. Она же это терпит, да еще весела и вдобавок!

Итак, завтракать мы будем вдвоем, потом я читаю ей газету. Обедать?.. Ужинать?.. То же вместе.

Из дому выходить стану не часто: вдруг у Катрин случится когда-нибудь дело в наших краях и она забежит, а меня как раз нет дома. Погуляю уж лучше в саду или, самое большее, по известному кольцу: улица Кароя Лотца, аллея Эржебет Силади, улица Хазмана, Пашарети, – настичь меня там не трудно. Да и вообще скоро уж осень, дождливая пора, куда же мне выходить! Попрошу вот протопить мою комнату: после болезни я стал больше зябнуть.

Столовую и приемную распоряжусь запереть, трапезничать будем в кабинете.

Возможно, куплю щенка пули¹. Собака живет лет десять-двенадцать, она и проводит меня до могилы. Собака, говорят, верней человека.

В мои планы – я ведь предусмотрителен – входило также научить Жофи играть в шахматы.

¹ Венгерская порода пастушеских собак.

Я и сам игрок слабый, пусть же собака у моих ног станет терпеливым свидетелем сражения двух светочей мысли. Ну еще—решением шахматных задач займусь на досуге.

Между тем переезд Тамаша—через две-три недели после вышеописанной беседы, как я упоминал,—прошел гладко, без излишних чувствительных сцен. У девчушки, если не ошибаюсь, увлажнились глаза, но мечта о счастливом будущем скоро их осушила. Багаж их уместился в одном такси: накупленные за последние дни вещи дожидались в кишпештской квартире. Я проводил их до калитки, даже помахал вслед рукой.

Когда я вернулся, квартира показалась мне пустой. Взбираться наверх я поостерегся, хотя теперь хождение по лестнице не представляло для меня труда. Я, несомненно, окреп, стал здоровее. Правда, в ночь после exodus¹ я не сомкнул глаз, разве что под утро на какой-нибудь час, и в семь часов уже был на ногах, но в общем я оставался спокоен. Светило солнце, это тоже мне помогало. Надеясь не встретить Жофи, я вышел в сад и добрых полчаса бродил вокруг дома. В изрядно пожелтевшей листве моих любимых ореховых деревьев вели беседу пять-шесть черных дроздов, я люблю их посвист, предпочитаю его въедливому, слащавому бульканью канареек.

Итак, молодость ушла безвозвратно, думал я, бредя по саду. Да и на что мне еще надеяться, старой развалине? Благослови тебя бог, моя последняя любовь.

Я вернулся к себе чуть-чуть усталый, сел за письменный стол. Когда я—после болезни впервые—взял в руки перо, положил на колени тетрадь, меня охватило то же тихое волнение, какое на протяжении почти уж шестидесяти лет подымалось во мне всякий раз, как только я садился за работу. Это меня немножко утешило.

¹ Исхода (лат.).

